

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



**ВЛАДИМИР
ШАРОВ:
ПО ТУ СТОРОНУ
ИСТОРИИ**

Сборник статей и материалов

Научная библиотека

Сборник

**Владимир Шаров: По
ту сторону истории**

«НЛО»

Сборник

Владимир Шаров: По ту сторону истории / Сборник — «НЛО»,
— (Научная библиотека)

ISBN 978-5-44-481393-5

Владимир Шаров (1952–2018) как личность и как писатель вобрал в себя несколько интеллектуальных и культурных традиций, без которых нельзя понять Россию XX и XXI веков. Эта книга — первая попытка осмыслить вклад Шарова в художественный мир последних десятилетий. Литературоведы, историки и философы размышляют над поэтикой, философией и историсофией его романов. Шаров писал свои тексты, задаваясь прежде всего вопросом об истоках и причинах русской революции и советского террора. Он сам произвел революцию в жанре исторической прозы, причем не только русской. Авторы сборника ищут разгадку тайны созданного Шаровым типа исторического письма — одновременно фантастического и документального, философского и пародийного, трагического и до слез смешного. Они пытаются дать ответы на вопрос о том, как идеи Шарова соотносятся с мыслями его предшественников и учителей, от Толстого до Платонова.

ISBN 978-5-44-481393-5

© Сборник
© НЛО

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Мемуары и эссе	8
КОГДА ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ	8
БЕГУН И КОРАБЛЬ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Владимир Шаров: По ту сторону истории

ПРЕДИСЛОВИЕ

Владимир Шаров (1952–2018) был тем писателем, каждая книга которого меняла представление о том, что такое русская история и какая литература может ее освоить. Трудно найти другого такого автора, который сочетал бы столь радикальный художественный эксперимент с философским традиционализмом. Сочетание это производило и производит ошеломительный эффект, подрывая любые читательские ожидания и создавая каждый раз новую систему координат.

Как личность и как автор он вобрал в себя несколько интеллектуальных и культурных традиций, без которых нельзя понять Россию XX, а возможно, и XXI века.

Он был внуком евреев-революционеров, его ближайшие родственники прошли через ГУЛАГ, а многие и сгинули там. Рассказы о ГУЛАГе он слышал с раннего детства. Независимо от того, писал ли Шаров впоследствии о Новом Иерусалиме XVII века или же о Восточной Сибири века XIX, его главная цель состояла в рефлексии и свидетельстве об этом «горячем» не прошедшем прошлом, а шаровские художественные тексты полностью соответствовали его собственному определению «настоящего романа» – они были «детьми катастроф», «цветами зла», вырвавшимися из «поразительного по ужасу и трагизму опыта, который Россия пережила в XX веке»¹ и полная история которого еще не написана. Причудливые, так часто приводящие в изумление читателей размахом и неожиданностью воображения исторические фантазмагии Шарова направлены на подрыв всякой попытки под(от)редактировать, цивилизовать, «причесать» и перекроить по более комфортабельной мерке неудобное тоталитарное прошлое, окончательного расставания с которым в России так и не произошло – в современной русской культуре оно, напротив, угрожающе часто становится предметом ностальгических вздохов.

Шаров писал свои тексты, задаваясь прежде всего вопросом об истоках и причинах русской революции и советского террора. Те преемственные связи, которые были всегда важны для него на уровне семьи, он выявлял и восстанавливал в перспективе философско-религиозных корней русского террора. И в этом смысле Шаров, не причисляя себя ни к христианам, ни к иудеям, но прекрасно зная Ветхий и Новый Завет, явно наследовал традиции религиозного осмысления русской истории. Библия для Шарова – главная книга человечества, и каждый его роман представляет собой так или иначе (один из любимых шаровских фразеологизмов) комментарий к Священному Писанию.

Володя воспитывался в кругу либеральной советской интеллигенции, к которой принадлежали его родители, и прежде всего отец – писатель и журналист Александр Шаров. Живя в московском писательском доме у метро «Аэропорт», Володя хорошо чувствовал эту культуру, с ее самоироничной этикой и непочтительным фольклором, любил ее, хотя и не растворялся в ней. Тем скандальнее прозвучал разрыв с, казалось бы, родной ему интеллектуальной средой. Разрыв этот произошел довольно рано, в 1993-м (недаром многие статьи в нашем сборнике обращаются к этому эпизоду), когда «Новый мир» – постоянным автором которого был еще его отец – сначала опубликовал один из лучших романов Шарова, а затем резко раскритиковал его.

¹ *Иваницкая Е.* Абсурд нашей жизни. Интервью с Владимиром Шаровым // Московские новости. 2002. № 39. См.: <http://www.litkarta.ru/dossier/absurd-nashei-zhizni>.

Число его верных читателей росло с каждым новым романом, но его популярность была подобна закрытому клубу: сюда допускались только те, кто научился наслаждаться трудным чтением и пониманием Шарова, посторонним вход был воспрещен.

Цель настоящего сборника, в котором академические исследования соседствуют с эссеистическими и мемуарными текстами, – приоткрыть двери «закрытого клуба»; помочь тем, кто уже любит и знает творчество Шарова, и тем, кто хотел бы узнать о нем больше; понять этого замечательного автора, написавшего девять романов, две книги эссеистики и две книги стихов и ставшего, возможно, самым оригинальным прозаиком в современной русской словесности.

Шаров произвел революцию в жанре исторической прозы. Причем не только русской. Созданный им тип исторического романа не вписывается ни в одну из известных жанровых рамок. Роман Шарова не является ни реконструкцией прошлого, ни сочинением в жанре альтернативной истории, ни приключениями на фоне исторических декораций, ни иллюстрированием историософских абстракций. Хотя в его романах можно найти и то, и другое, и третье – и что-то еще, с трудом поддающееся определению. Авторы статей, включенных в раздел «История: поэтика и эстетика», разгадывают тайну созданного Шаровым типа исторического письма – одновременно фантастического и документального, философского и пародийного, трагического и до слез смешного. Авторы же тех статей, которые вошли в раздел «История: философия и политика», ищут ответы на вопрос о том, как шаровское небывалое историческое письмо изменяет наше понимание России и как его идеи соотносятся с мыслями его предшественников и учителей, от Толстого до Платонова.

Володя повлиял в той или иной степени на всех, писавших для этого сборника. Для одних он был ближайшим другом, наполняющим жизнь смыслом. Для других встреча с ним стала яркой, надолго запомнившейся вспышкой. Но для всех очевидно одно – масштаб и неповторимость его личности. Помимо блестящей образованности, изумительной памяти, провидческой прозорливости, помимо глубины и серьезности мысли, работа которой не прекращалась в нем ни на секунду, в Шарове гармонично сочетались обезоруживающая и всеобъемлющая доброжелательность к окружающему миру, беспредельная открытость жизни и не наигранная, а простодушно-искренняя внимательность по отношению к Другому, редкий дар собеседничества. Все это замечательное обаяние личности моментально обволакивало своим согревающим и умиротворяющим теплом каждого, кому посчастливилось с ним познакомиться, и закладывало основу для того, что встречается не так уж и часто, – уникальности общения. Озарявший Шарова внутренний свет сохраняется и теперь, в воспоминаниях о нем. Об этом – раздел «Мемуары и эссе».

Нам очень хотелось, чтобы в этой книге зазвучал голос самого Володи. Поэтому разделы, посвященные анализу его романов и воспоминаниям о нем, соседствуют здесь с разделом, в который включено никогда ранее не публиковавшееся по-русски развернутое интервью с Володей, записанное болгарским поэтом, издателем и журналистом Георги Борисовым.

Краткая биографическая и библиографическая хроники жизни Шарова, составленные молодым исследователем Марком Белозеровым, завершают наш сборник.

Мысль об этой книге возникла в дни прощания с Володей. И поэтому каждый текст в ней – дань любви и попытка понять, что Володя значил для каждого из нас и что он внес в наши жизни. Как редакторы-составители мы хотим сказать спасибо всем авторам этой книги. Но особая благодарность – Ольге Дунаевской, вдове, ближайшему другу, первому читателю и редактору Шарова, которая отнеслась к этому сборнику с теми же заботой и тщанием, с какими она работала над рукописями романов и других Володиных книг.

В заключение позволим себе переиначить слова отца Сергея Булгакова, сказанные об одном из любимых шаровских героев: «Радостно думать, что в мире был Федоров». И так же радостно думать, что в этом мире был Шаров.

*Марк Липовецкий и Анастасия де ля Фортель
Декабрь 2019 г. – январь 2020 г.*

Мемуары и эссе

КОГДА ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ

Ольга Дунаевская

Мы познакомились в компании. Володя был высокий, давно не стриженный, в рваном свитере и красивых иностранных туфлях с острыми носами. Стоял февраль – туфли были летние. Одна бровь у него была черная, другая – белая, и белая прядь волос с той же стороны. Продолжения наше знакомство сразу не имело, но летом мы случайно встретились в Исторической библиотеке – с того и началось.

Время для Володи было непростое: за год до этого он прошел через забастовку, перелом основания черепа со смещением, депрессию и уход из Плехановского института. В Москве он не мог устроиться ни на какую работу. Тем летом Володя ждал ответа из Воронежа о зачислении его на заочный истфак – он не был комсомольцем, и на дневное отделение ход ему был закрыт.

Володя любил пошутить, что поздно научился читать, но уж как начал, остановиться не мог, и кстати, обычно не откладывал книгу, не дочитав. В пору нашего знакомства он увлекался мифами разных стран. У его отца на полках стояла серия книг в холщовых переплетах «Сказки и мифы народов Востока». И вот в одну из первых прогулок по крутым переулкам вокруг Солянки – Маросейки – Покровки он рассказывал, как его поразила одна китайская сказка. Там была некая лиса, исключительно пакостная, которая творила и творила всякие дурные дела; так вот, она вдруг исчезла из сказки, не получив никакого возмездия за содеянное. «Смотри, – говорил он, – тут совсем другая этика. Не наша, когда зло должно быть обязательно наказано».

И незадолго до того он прочитал «Джан» Андрея Платонова в недавно вышедшем одномтомнике. И тоже говорил, что его потрясли эти мучительные блуждания народа, когда в результате снова нет выхода: при любом исходе усилия и тяготы будут продолжаться и народ будет ждать новая развилка, новый выбор и, наверное, новое рабство. Мне кажется, что это изумление не оставляло его и дальше. Добро и зло, которые незаметно для нас меняются местами, и блуждания по жизни, не имеющие конца. Они могут идти по кругу, как в «Репетициях», когда бегущие думают, что бегут по новому пути, но он приводит их к истоку. Могут быть мнимыми, как в «Воскрешении Лазаря», а могут тянуть за собой все новые и новые развилки – и все равно вернуться вспять, как в «Возвращении в Египет».

Тогда, в начале семидесятых, Володя уже писал стихи. Их было немного, относился он к ним серьезно, но вслух чужим не читал. И вот однажды он в шутку стал строчку за строчкой низать стихотворный рассказик о моем детстве. В результате эти стихи сложились в забавную «Поэму о Щене» (это было мое «внутреннее» имя). Она получилась очень смешная, я была в восторге. Несмотря на всю незамысловатость, ее позже оценил Александр Иосифович Немировский, будущий Володин профессор античной истории из Воронежа и сам поэт. «Поразительно цельная, отличная вещь», – сказал он. Но моя мама выслушала поэму без улыбки. Там были слова, что Щен родился «в грязи и пьянстве». И когда мы с Володей закончили декламацию, строго спросила: «Ну почему в грязи и пьянстве, Володя? У нас в семье никто не пьет». – «Но Ольга рассказывала о ваших соседях по коммунальной квартире», – оправдался Володя.

Моя судьба была решена, но Щенячья служба на этом не кончилась. Вскоре Володя сочинил прозаическую сказку «Десять историй о Щене», которая в будущем оказалась для нас про-

сто золотоносной. Постоянные разборки двух героев – Щена и мальчика, которого в сказке зовут Собаковод – очень напоминали наши. Герои болели нашими болезнями и пытались решить наши проблемы. Эти сказки друг родителей Володи, писатель Георгий Балл, позже отнес в издательство «Детская литература», и спустя какое-то время они вышли в отличном сборнике «Сказки без подсказки». Это была первая Володина «прозаическая» публикация. Он получил за них кучу денег. А вслед за этим их напечатали в Чехословакии в «Антологии мировой сказки» – и гордый автор появился с почти шестьюстами валютными чеками! Для нас тогда это была огромная сумма. И еще раз, уже в середине девяностых, сказку – по одному рассказику в номере – опубликовала газета «Первое сентября», и снова «Щен» был щедро оплачен. Эти сказки очень хвалил отец Володи.

Стихи, которые Володя начал читать вслух другим (одна их подборка вышла потом в «Новом мире», и позже – в журнале «Сельская молодежь»), стали у него писаться, когда мы уже поженились и поселились в высотном доме у метро «Коломенская», в маленькой съемной квартирке. Ее окна смотрели на Москву-реку, по ней медленно днем и ночью шли груженные песком и гравием баржи, давая глухой гудок на излучине.

Вообще Володя невероятно любил воду, потрясаяще плавал, мог делать это часами. Вода его успокаивала и приводила в гармонию, хотя и с водой он любил бороться. Например, купался на море в шторм. Тем летом, когда мы стали встречаться, Володя с отцом уехал в Гагры и такое штормовое купание чудом не кончилось для него крахом. Его несло волной на бетонный дебаркадер, и он рассказывал, что когда все же выплыл и выбрался на берег, то, глядя на беспомощно мечущегося по берегу отца, понял, что значит, когда говорят: «на человеке лица не было».

Володя всегда и везде переплывал реки. Когда мы были в Друскининкае в Литве, в нашей первой поездке после свадьбы, я умолила его не переплывать Неман. В Друскининкае река очень широкая и вся в воронках. В конце концов он согласился, но не так давно вдруг сказал, что жалеет, что поддался. Плаваньем в ледяной воде он лечил высокую температуру и боли в мышцах после футбола. Это называлось: вышибать клин клином.

И литературу в юном возрасте любил связанную с путешествиями по воде. Из европейской ценил и часто перечитывал Стерна и Свифта. Очень любил английское остроумие, над которым не хохочешь во всю глотку, а разгадываешь его отчасти как ребус. И после «Щена» он стал писать уже большую – как он потом говорил, тренировочную – вещь: шуточное эротическое путешествие по разным вымышленным островам некоего английского купца по фамилии Крафт. (Позже он подарил беглое описание этих островов одному из героев своего первого романа «След в след» Федору Крейцвальду.) Он это путешествие шлифовал, читал себе вслух, переделывал, но потом оставил и решил всерьез заняться сказками. Володя очень хотел иметь на сказки свободный год, но тут подоспело окончание Воронежского университета. Мои родители и я давили, чтобы он шел работать. Посопровтивлявшись, он сдался. Он был уверен, что никуда не устроится, но дело взяла в свои руки моя мама, у которой проколы в жизни случались редко.

Не прошло и месяца, как была найдена работа во ВНИИДАДе (Всесоюзном научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела). Находился институт в центре, ехать было недалеко и ходить туда надо было не каждый день. Там, наряду с малопривлекательными, работало много хороших и интересных Володе людей, которые к нему прекрасно относились, но страдал он там нещадно. В основном от того, что это было классическое НИИ-ЧАВО, прямо по Стругацким. Там кончились стихи. Там, однако, начались – как мостик к прозе – стихи белые, хоть это было и недолго. Без ВНИИДАДа, правда, точно бы не было очной аспирантуры, которая дала многое: новаторскую теорию опричнины Ивана Грозного, основной массив исторических идей, саму возможность сосредоточиться на прозе и романы «След в след» и «Репетиции».

У моих и Володиных родителей были друзья в подмосковном академгородке Пушкино, и там часто пустовала то одна, то другая квартира. В Пушкино и вокруг было красиво, особенно осенью, когда глядишь с высокого берега Оки на природный заповедник напротив. Говорили, что там живут зубры, и я всегда ждала, что хоть один появится на другом берегу. В Пушкино Володя вдруг написал подряд несколько новелл, связанных со сталинским временем и войной. Они потом все вошли в первый роман «След в след»: о самопроксе; о законодательном упразднении семьи при социализме; о рисовом зерне, на котором вырезана статья Ленина и которое породило плодоносный и не знающий преград сорняк, оказавшийся новым сортом ярко-красного риса. Эту новеллу о зерне успел прочитать отец Володи, и она произвела на него сильнейшее впечатление.

Вообще Володины романы вырастали из удивления. Он говорил, что пишет тогда, когда чего-то не понимает, чему-то изумляется. И когда пишет, разматывает для себя спутанный клубок. А удивить могло что угодно: судьба, фраза, картина, документ, место, стихотворение, событие.

Попав в очную аспирантуру и освободившись от хождения на работу, Володя так быстро и глубоко погрузился в свои писания, что не был уверен, что станет заниматься диссертацией. Но внезапно, буквально за одну ночь, не стало отца Володи, Александра Израилевича, и Володя решил делать диссертацию и защищаться в память об отце – тот очень этого хотел. В аспирантуре он, работая над диссертацией по историографии Смуты в дореволюционной России, сделал важное историческое открытие, что было подтверждено главным российским специалистом по опричнине, ныне покойным С. О. Шмидтом. Володя объяснил происхождение и суть опричнины Ивана Грозного как военно-монашеского ордена. Его статья об этом, множество раз выходившая в научно-популярных изданиях, была напечатана в качестве научного исследования в Ежегоднике Археографической комиссии уже за 2003 год. Сигурд Оттович позволил Володе и сказал: «Пора восстановить приоритеты».

В первый роман «След в след» он хотел вместить все, что успел написать, и потом сам говорил, что его надо расписывать во множество новых романов. Неожиданно для Володи все уже написанные части объединились в текст судьбой няни нашего сына Арсения. Она как раз появилась у нас в доме в момент, когда большая часть мини-повествований, составивших «След в след», была написана. В свои 75 лет Людмила Дмитриевна была еще красавицей. Дочь члена Государственной думы и фрейлины царского двора, она прожила безумную для любого другого и «нормальную» для своего безумного времени жизнь, обожала нашего Арсения, и до конца ее дней мы с сыном ее навещали. Ее история стала скрепой для жизнеописаний трех братьев Крейцвальдов, у которых по очереди была одна жена Наташа. Да и было ли их трое?

Рождение второго романа – «Репетиции» – подробно описано самим Володей в эссе «Как я писал роман „Репетиции“». Скажу лишь, что тут сыграли роль два удивления. Первое: когда чувствовавший себя виноватым перед Володей его заведомо во ВНИИДАДе (причины и детали не буду повторять – они есть в Володином очерке) подарил ему в знак примирения огромную картотеку по расколу. Потом Володя волей-неволей втянулся в чтение этой литературы – и дело пошло.

И второе. Мы в тот момент начали строить дачу в писательском поселке под Новым Иерусалимом. Участок получил еще Володин отец. Володя в том же очерке подробно описал, как все друзья помогали нам в этом нелегком деле. Но еще раз вспомню один эпизод. Домик у нас был сборный. Один «прораб» привозил нам материалы для его обустройства. И вот как-то выгружают желто-зеленые панели утеплителя, и этот Сережа говорит, мол, ребята знакомые на куполе храма Гроба Господня сэкономили. Ремонт и перестройка этого купола шли несколько десятилетий. И Володя в шоке остановился: «Наша крыша будет покрыта утеплителем с купола храма Гроба Господня?..»

В итоге крыша стала и вправду если не бесценной, то «позолоченной»: пресловутый Сережа исчез с нашими деньгами и со всем остальным недопоставленным стройматериалом. Отловить его нам так и не удалось.

О «Репетициях» хочу еще добавить: написав этот роман, Володя несколько успокоился по поводу своего писательского будущего. Во-первых, он уже не думал, как после «Следа в след», что это, может статься, его первый и единственный роман. А во-вторых, в 1989 году он ездил в США, где Наум Коржавин организовал для него несколько «квартирных» чтений, и до сих пор те, кто слушали его там, вспоминают, каким потрясением это для них было. Когда Володя вернулся и я спросила, как все прошло, он ответил: «Все сказали, что я гений». Это было невероятно важно именно в тот момент, стало настоящей поддержкой. Но вообще от близких он терпеть не мог криков «Это гениально!». И если я на какой-то кусок его текста говорила: «Очень хорошо!» – он сердился и приступал: «Ты просто хочешь отделаться!» Очень ценил конструктивную критику.

Огромным допингом для Володи всегда была игра. Он с отрочества много играл в пинг-понг, в шахматы, в том числе и дома с отцом, причем за одним и тем же столом. Он стоит у нас до сих пор – огромный старый стол, который, если его разложить, как раз становится пинг-понговым. С детства обожал футбол, играл в него до последнего.

Когда мы поженились, он увлекся бриджем. Это была игра на интерес, а не на деньги. Игроки вели подробную запись партий, и в конце года выигравший получал красивый подарок. У Володи была серебряная ладья, выкованная одним из бриджистов. Об этом времени Володя замечательно написал в эссе, посвященном Саше Горелику, бессменному главе их дружного бриджового «клуба».

Так как суть игры для них была в двух вещах: в интересе к самой игре и в общении, – то подошли они к этому грамотно. С какого-то момента стали просить друг друга подготовить небольшой доклад по теме, которая кого-то из кружка интересовала. Володя в качестве единственного гуманитария в компании получил тему «Философ Николай Федоров» – и, прочитав его труд «Философия общего дела» и о самом Федорове, в очередной раз сильно удивился.

Так родился роман «До и во время». Еще туда вошло давнее потрясение Володи от чтения евристических выпусков двадцатых годов под названием «Клинический архив гениальности и одаренности». Эти сборники, сделанные как журнал небольшого формата, выходили несколько лет в Свердловске под редакцией эвропатолога Сегалина. Еще давно кто-то принес пару выпусков отцу Володи. В этих тоненьких сборничках, напечатанных почти на папиросной бумаге, автор пытался проследить связь между настоящим талантом и психическими отклонениями либо у самого «носителя», либо у его родственников. Помимо какой-нибудь тети-истерички у Гомера, там было много интересных и странных сведений, которые можно было проверить и которые находили подтверждение.

Роман «До и во время» был закончен в 1992 году. Вокруг него в журнале «Новый мир», где роман опубликовали, разыгрались большие страсти, стоившие Володе сил и здоровья. (Подробности о самих публикациях – чуть ниже.) Немного придя в себя после всей этой истории – когда редколлегия публично разделилась во мнениях, печатать ли роман, а редактор отдела прозы Инна Петровна Борисова, всячески поддерживавшая публикацию, вскоре была отправлена на «заслуженный отдых», – Володя начал писать свою четвертую вещь – роман «Мне ли не пожалеть...». Закончен он был в 1994 году.

Володя всегда интересовался обособленными общностями, особенно религиозными. И говорил, что связи сектантов и большевиков, даже если документы и дальше оставались бы строго засекречены, легко «просчитываются». Эмоционально же он всю жизнь был под впечатлением своей поездки в ранней юности в Среднюю Азию, в археологическую экспедицию. На обратном пути, когда он жил на турбазе, расположенной в бывшем гареме Хивинского хана, двое ребят-адвентистов пытались увести его в горы и подготовить из него руководи-

теля общины. Это было одно из самых сильных потрясений в его собственной жизни. Осознание развилки, своего выбора, странных неиспользованных возможностей, нехоженных путей. (Кстати о путях в прямом смысле слова: он, когда водил машину, всегда старался ехать неизвестной дорогой. А когда гулял, возвращался обычно новым путем.)

Володя очень любил вспоминать эту поездку; до сих пор на книжной полке стоят два старинных чеканных сосуда для вина. Он хранил коллекцию глиняных черепков, привезенных из экспедиции, часто рассказывал о той природе, такыре, песках, сияющей на солнце глыбе мрамора. Все это вошло в роман.

А прототипом героини «Мне ли не пожалеть...» эсерки Бальменовой, примкнувшей к хлыстам, была, скорее всего, эсерка Берта Борисовна Бабина. Ее Володя поначалу помнил очень ярко, вспоминал и после написания романа. С ней мы познакомились в писательском Доме творчества «Голицыно», куда меня отпустили две мамы – моя и Володина, – когда сыну было около двух лет.

Берта Борисовна была уже очень старой; жила она в соседней комнате, с трудом карабкаясь на второй этаж – у нее были больные ноги. Даже не помню, с чего началось наше общение, но она сразу много и охотно о себе рассказала. Она просидела в общей сложности двадцать пять лет. Когда она упомянула, что в двадцатых годах успела поработать в одном из коминтерновских изданий, Володя сказал, что его дед, Израиль Исакович Нюрнберг (или Ниренберг, в бумагах есть оба варианта), возглавлял один из журналов. Сразу выяснилось, что именно там и работала Бабина! Она не могла прийти в себя от изумления и радости, готова была говорить с Володей сутками. Она отзывалась об И. И. очень хорошо, как о редкостно умном, очень талантливом и порядочном человеке. Он обладал уникальной памятью, но в революционные годы пережил тяжелую травму: как член Бунда он был схвачен то ли белыми, то ли красными, то ли зелеными в маленьком городке на Украине, где в тот момент находился, и наутро ждал расстрела. Проведя ночь в изоляторе для смертников, утро он встретил совершенно седым. Казнь отменили, и его вскоре выпустили, но у него началась тяжелая циклотимия.

Берта Борисовна страстно любила сына, крупного специалиста по самолетостроению. От своих убеждений она ни на минуту не отказывалась (шел 1980 год), и единственное, что ее грызло, так это то, что ее и мужа эсеровское прошлое помешало сыну получить Государственную премию.

Володя, как и она, был этой встречей поражен. Страстная любовь Бабиной к сыну, но и одержимость идеями, само ее имя, ее низкий голос – все это во многом подарено эсерке Бальменовой во «Мне ли не пожалеть...».

Тут хочу сделать отступление и сказать несколько слов о журналах, где выходили романы и эссе Володи. Вслед за отцом он очень ценил журнальные публикации. Толстые литературные журналы и в советское, и в постсоветское время долго были нарасхват, печатали самое новое и интересное с большей скоростью, нежели это успевали делать книжные издательства. Журналы поступали во многие библиотеки, в том числе провинциальные, и там быстро образовывалась очередь из желающих прочитать актуальный текст. Лишь в последнее время падение тиражей и финансовые неувязки свели влияние толстых литературных журналов к минимуму.

Первый роман – «След в след» – был напечатан в журнале «Урал» (№ 6–8, 1991). Его отнес туда покойный ныне екатеринбургский писатель Александр Верников. Можно было опубликовать его и в Москве, но для этого требовалось изъять исторический кусок: как Володя его называл – «о царях-революционерах». Потом он и сам понял справедливость этого редакционного предложения и убрал фрагмент, но тогда стоял на своем твердо, потому что не знал, напишет ли что-нибудь еще. А «Урал» принял текст в том виде, в каком Володя хотел.

Второй роман, «Репетиции», вышел в журнале «Нева». После триумфальных чтений в Бостоне Володя стал давать его в Москве друзьям и немедленно получил прекрасный отзыв

драматурга Александра Корина, бывшего питерца, дружившего с замечательным, увы, ныне покойным критиком и литературоведом Самуилом Ароновичем Лурье. В очередную поездку в Петербург Корин передал Лурье текст романа. От Лурье пришла восторженная рецензия, и роман был рекомендован для печати в журнале «Нева». Историю этой публикации повторять не стану – она блистательно изложена самим автором романа в упомянутом эссе «Как я писал роман „Репетиции“».

Третий роман, «До и во время», вышел в «Новом мире» (№ 3–4, 1993). Хорошо известно, во что вылились несогласия среди членов редколлегии по поводу Володиного романа. Лишь кое-что добавлю. Печатать или не печатать текст – эти сомнения глодали и Сергея Залыгина, бывшего тогда главным редактором журнала. Володе по нескольку раз в день звонила редактор отдела прозы Инна Петровна Борисова и сообщала: то «Володя, печатаем», то «Володя, не печатаем». Его уже потряхивало от всего происходящего. Наконец его официально пригласили в редакцию, где Сергей Залыгин на заседании редколлегии сказал: можно принимать или не принимать этот роман, но долг самого Залыгина перед русской литературой – текст Шарова опубликовать, потому что, видимо, по этому пути литература и пойдет в ближайшие годы.

В «Новом мире» уже была подобная «разборка», когда обсуждалась судьба «Зимы 53-го года» Ф. Горенштейна, но она проходила не так публично, как в случае шаровского романа. Володя был потрясен, что выпускающие редакторы, заварившие всю эту кашу, ни разу не связались с ним, не задали ни одного вопроса, потому что тогда выдвинутые претензии по большей части были бы сняты. Во всяком случае, не возникали бы вопросы типа: почему апокрифический текст называется «Повесть о повешенном», когда всем известно, что Христа распяли; почему у Сталина высокий лоб, когда всем известно, что он был низкий. Ну и далее в таком же духе. Хотя друзья уговаривали Володю, что для него нет большой беды в этой истории, она только сделает ему имя (действительно, тогда появились огромные публикации по поводу романа, у Володи стали брать большие интервью), он пережил ее тяжело, говорил, что она «прошлась по нему катком».

А после этого уже все романы и эссе до книжных изданий выходили в журнале «Знамя». С ним связана дальнейшая жизнь Владимира Шарова – писателя. Собственно, и первый роман мог быть там напечатан, если бы Володя согласился снять исторический кусок – то есть отдав четвертый роман в этот журнал, Володя отчасти восстановил изначальный ход.

В «Знамени» не положено до публикации давать прямые оценки текстов. Роман принят – и вот она, похвала. Поэтому то, как поведет бровью Сергей Иванович или Наталья Борисовна, что именно скажут, подписывая договор, всегда было в высшей степени интересно: я уже говорила, что Володя очень интересовался развернутыми оценками своих текстов. «Хорошо», «плохо», «гениально» – для него не существовало.

«Знамя» стало своего рода синекдой в его творчестве. Это было и общее, и часть, и место публикации, и герой – здесь, например, происходит фрагмент действия романа «Возвращение в Египет». Володя очень ценил человеческое общение и профессионализм «знаменских» редакторов. Сначала он работал с Еленой Хомутовой, потом с Аленой Холмогоровой. А над журнальным вариантом «Возвращения» мы работали «в восемь рук»: помогал муж Алены, Михаил Холмогоров – сам великолепный писатель, потрясающе чуткий и ответственный редактор, что называется, настоящий русский интеллигент. Так Володя о нем и говорил.

Вспоминаю эту работу как счастье. Было это перед Володиной болезнью. Стояло душное лето. Мы приезжали к Холмогоровым на Поварскую. В их квартире, заставленной старинной мебелью и книжными полками, было так интересно разглядывать пожелтевшие фотографии на стенах. Мужчины в армейских мундирах и красивые женщины в длинных строгих платьях. Мать Миши с огромными сияющими глазами.

Работали несколько часов. Потом Алена вкусно кормила в маленькой кухне, а кошка Марыся безнаказанно совершала бесшумную инспекцию разложенной по всем столам руко-

писи, выбирала ту стопку, которая находилась на солнышке, и тихо на нее укладывалась. Потом снова работали, пили чай с принесенным нами тортом, и вечером, с чувством, что день прожит со смыслом, мы двигались к дому. Двигались долго, если у меня была удобная обувь: страстный пешеход, Володя всегда просил пройти до ближайшей остановки метро, а потом – до следующей.

(Кстати, Миша был ровно на десять лет старше Володи, день в день, и мы всегда взаимно поздравляли друг друга с их днями рождений, а о болезни Володи мы узнали в момент похорон Миши – я поехала на кладбище, а Володя забирал анализы и должен был приехать на поминки, но получилось все по-иному: была у них какая-то невидимая связь.)

Алена была последним редактором, обсуждавшим с Володей правку и журнального фрагмента из «Царства Агамемнона», и самой книги. Ему уже стало трудно общаться, компьютер со включенным скайпом стоял от него чуть поодаль. Это был май 2018 года.

Вообще работал Володя – и писал, и правил – истово. Не умел отдыхать, останавливаться. Всегда боялся забыть то, что решил, или придумал, или понял; вскакивал ночью, когда работа шла, от руки записывал какие-то «наводки», но не печатал, чтобы окончательно себя не разбудить – после менингита в детстве у него всю жизнь была тяжелая бессонница.

Не понимал неоконченных дел, будь то писание романа, чтение книги или что угодно более утилитарное. Пока дело не сделано, отдыха быть не могло. Только для общения с друзьями иногда делалось исключение, сюда же входили бридж и футбол. Но стоило хоть на минуту остаться вне людей, мотор начинал бешено работать. Вместо утреннего приветствия он часто говорил: «А я понял то-то и то-то».

С 1994 года Володю взяло под крыло российско-швейцарское издательство «Наш дом – L'Âge d'Homme».

На одной из книжных ярмарок в середине 1990-х мы познакомились с известным швейцарским издателем сербского происхождения Владимиром Димитриевичем, который очень скоро открыл отделение в Москве, где один за другим выпускались Володины романы. Издательство находилось в паре остановок от дома, на Тверской, Володе там всегда были рады, и он ездил туда часто просто поболтать и пообщаться. «Наш дом» выпустил все книги, включая родившуюся к концу девяностых «Старую девочку». Издания были в мягких обложках, но красиво, с душой оформленные: два первых покотбучные и два крупноформатные. Это были Володины первые книги.

Толчком к созданию «Старой девочки» стали дневники родственницы Володи Веры Сергеевны Отраденской, которой он и посвятил роман. Вообще в семье родство знали плохо. Несколько раз нас находили родственники, в том числе из других городов, и всегда это было огромным подарком. С момента гибели родителей отца и матери Володи почти все документы и фотографии были уничтожены. У отца на книжных полках около письменного стола стояла красивая дореволюционная фотография его матери и одна, смазанная – мать и отец в эмиграции. Точно та же картина была около письменного стола матери Володи, Анны Михайловны: слева на полках – фотография ее отца, уже поздняя, ближе к его посадке, и фотография мамы (я застала ее, она умерла в первый год нашего с Володей общения) – просто лагерный снимок. Володина мать невероятно любила и уважала своего отца, говорила, что ее жизнь распадается на две части – до его гибели и после.

Володя всегда очень хотел иметь большой клан, много родственников, представлял, как все собираются за столом в праздники. Завидовал, что у меня близкие худо-бедно сохранились, с удовольствием ездил на всякие наши родственные сборы и слушал мои истории про детство, когда бабушка действительно собирала под сотню человек; у нас всегда было к кому поехать на

лето, кому пожить со мной на даче, когда она появилась, кому позвонить пожаловаться и куда пойти в гости. Мама старалась эти связи хранить.

Сейчас, к сожалению, они распались, но все же я знаю всех своих троюродных братьев и сестер. То же – и со стороны папы, хотя там общение было редким, так как большая часть огромной семьи после революции перебралась из Днепропетровска в Ленинград. У нас сохранились чемоданы фотографий, в том числе конца XIX – начала XX века. Но Володю особенно пленяли дневники моей бабушки по маме, частью записанные моей рукой. К сожалению, текста было не так уж много, но он очень личный и интересный.

Уже после смерти отца Володи нам вдруг позвонила, а вскоре и приехала к нам троюродная сестра Александра Израилевича с экзотическим именем Эльга. Вскоре у нас с Володей родилась дочь Аня, и Эльга предложила иногда гулять с ребенком. Это было начало нашего общения, и ниточка потянулась. Оказалось, что «куст» Володиной семьи, к которому принадлежала Эльгуша, как ее все называли, поддерживает отношения. Так мы познакомились с одной из племянниц Володиного отца, Вероникой, которая, в свою очередь, предложила познакомить Володю со своей мамой и дать почитать мамины воспоминания. Это было огромное везение.

И вот Володя отправился в гости к Вере Сергеевне Отраденской. Она, собственно, не кровная родственница, она вдова кузена Володиного отца, который до своей гибели в тридцать седьмом году был начальником «Грознефти». Жила Вера Сергеевна с дочерью и внучкой в панельной пятиэтажке в узком и крутом переулке, сбегавшем к Язуе, причем дом был выстроен на том же месте, где стоял деревянный домик ее отца-священника.

Вера Сергеевна, по словам Володи, была величественная старая дама, которая играла ему на пианино и вела светскую беседу, но у нее уже начались проблемы с памятью, и Володю она упорно принимала за его отца. Удивлялась, как он может чего-то не помнить, ведь он сам в этом участвовал!

Дочь Веры Сергеевны дала Володе записи матери. Они были не окончены, оборваны на каком-то давнем годе, но Володя был потрясен. Такой огромный массив памяти, причем связанной с его семьей! Конечно, в «Старой девочке» в основном все выдуманно, хотя какие-то герои заимствовались из дневника. Володю поразила детальность дневника, то, что человек записывал свою жизнь день за днем – пусть и в нескольких скупых строках. Это подтолкнуло основную идею романа: в знак протеста против обрушения жизни – последовательный, день за днем уход вспять. Дневник как географическая карта, как схема маршрута. Володя для себя все время сопоставлял героиню с библейским Иовом.

Как всегда, писал он отдельными кусками, потом же, когда мне впервые предложили работу в США и мы уехали туда на полгода, там сводил все воедино, дописывал связки.

Миша Эпштейн, работавший в Университете Эмори в Атланте, пригласил Володю прочесть несколько лекций. Это было в конце зимы, за пару месяцев до нашего возвращения в Москву. Володя, уезжая, оставил мне текст без единого знака препинания: он обычно так печатал, обозначая большой буквой новое предложение. Меня просил без него текст прочесть, но знаки не проставлять. Я уже знала тогда, что начнешь ставить знаки – смысл и стиль текста полностью ускользнут. Прочитала дня за три с перерывами на сон, собственные занятия и походы за дочерью Аней в школу. Особенно потряс конец. Даже в таком ущербном и плохочитаемом виде роман произвел на меня огромное впечатление. С предыдущими такого не было, хотя я всегда понимала, что это уникальная литература, такой нет, а если и появится после нечто подобное, по плотности и напору Володиного текста его всегда опознаешь – он неповторим. Вернувшись из США, мы подготовили роман к печати, и он еще успел после публикации в журнале «Знамя» выйти в «Нашем доме» – до того, как издательство было реорганизовано, а потом и вовсе закрыто.

Когда текст был готов, Веры Сергеевны уже не было в живых. Володя дал почитать рукопись Веронике. И вот как-то она звонит и говорит, что две старшие сестры сейчас в Москве и она приглашает Володю и меня к себе в гости познакомиться с ними.

Шел Володя с тяжелой душой. Ему казалось, что сестры не поддержат публикацию романа – столько он всего напридумывал, а ведь это их мать, реальный человек с реальной жизнью. Но все прошло очень хорошо. Было много любимых Володей несладких дрожжевых пирогов и всякой вкусной всячины, разговор был невероятно интересный, потому что сестры знали подробности жизни Володиного прадеда и прабабушки со стороны отца, помнили Володиного деда и бабушку и других близких родственников. Текст романа им показался захватывающим, и сестры дружно поддержали идею посвятить его Вере Сергеевне.

Больше всего в своей писательской жизни Володя любил время работы с редактором над текстом. Это называлось: «солдат спит – служба идет». Роман написан, прочитан в редакции или в издательстве, одобрен, готовится к печати, кто-то внимательно читает текст, задает вопросы, помогает его улучшить. Чего еще желать уставшему автору?

И первый год после сдачи романа он зрел для нового. Тогда чаще ходил в гости, иногда ездил по местам, которые были описаны в законченном романе, а к исходу этого года впадал в нервное состояние – снова появлялась мысль, что этот роман, возможно, был последним. Так прошел и 1998 год, а в 1999-м Володя был в гостях у своего приятеля, который показал ему пожелтевшую бумагу, датированную концом двадцатых годов. Ее получил отец приятеля во Всероссийском обществе велосипедистов, собираясь в пешее и велосипедное путешествие из Москвы в крайнюю восточную точку России. Бумага содержала просьбу к местным Советам оказывать всяческую поддержку предьявителю сего едой и организацией ночлега, а он, в свою очередь, должен был делать для жителей разных населенных пунктов политинформацию и пропагандировать советский образ жизни.

Эта пожелтевшая листовка родила идею «Воскрешения Лазаря».

Было написано уже несколько десятков страниц, как однажды Володя вдруг сказал: «Я понял, что это путешествие должно быть мнимым!» Вообще «Воскрешение Лазаря» – самый смешной из его романов, над многими эпизодами смеешься в голос.

«Воскрешение» было издано «Вагриусом», и с него началось издательское общение с редактором и издателем Еленой Шубиной, которое потом переместилось вслед за ней в «АСТ».

В Володиных романах обычно точно соблюдены физиологические детали, касающиеся автора, и этот роман – первым переизданный издательством «ArsisBooks» после ухода Володи из жизни – оказался романом-предвиденьем: повествование начинается 7 апреля, в реальный день рождения автора, а заканчивается тем, что повествователь узнает, что болен онкологическим заболеванием.

С начала 2000-х, после «Воскрешения Лазаря», наступило несколько нелегких лет. У Володи начался новый виток проблем со здоровьем, что вызвало долгую депрессию, во время которой ему не работалось. Когда мы в первый раз уехали в Штаты, моя коллега по американскому университету упростила нас сдать Володину квартиру своей дочери-юристу, которая в то время работала в Москве. Финансово Володе это показалось удобным. С тех пор, с 1998 года, Володя снимал недорогие квартиры у кого-то из близких, в его же хорошей квартире у метро «Аэропорт» мы сделали большой ремонт и сдали ее за высокую цену. Так делали многие, но для Володи этот вариант, который длился пятнадцать лет, оказался не лучшим: писать он стал медленнее, скучал по книгам, хотя много полок вместе с содержимым он возил за собой постоянно.

В 2001 году ушла из жизни мама Володи, Анна Михайловна – самая добрая женщина из всех мной встреченных. Я прожила с ней двадцать пять лет, и во всех разборках, которые

случались, была неправа я – теперь со стороны это лишний раз хорошо видно. Она писала отличные книги по истории физики и математики. В 1970-х годах я не раз видела в метро людей, уткнувшихся в ее книжку «Три судьбы» (об истории одного открытия, сделанного одновременно тремя учеными: венгром Бойяи – немцем Гауссом – русским Лобачевским) или «Л. Д. Ландау».

После «Воскрешения Лазаря» Володя написал несколько эссе (вошедших позже в отличное издание «ArsisBooks» «Искушение революцией»). С начала 2000-х он стал часто ездить в международные дома творчества, которым был очень благодарен за виды редкой красоты, за новых людей, за возможность работать не отвлекаясь. Примерно в 2005 году Володя переехал в квартиру, принадлежавшую нашей приятельнице, которая лет за десять до того уехала с тремя детьми в США. Я, как обычно, первая посмотрела жилье и сказала: там очень хорошо дышится.

Квартира была большая и неухоженная, там давно никто не жил. На стенах центральной комнаты дети приклеили осенние кленовые листья. Находилась она в пяти минутах ходьбы от метро «Преображенская площадь». Переехав туда, Володя как будто наполнился силами. Радовали походы за продуктами на пестрый Преображенский рынок, долгие прогулки вдоль набережных, возможность бродить по большому неустроенному квартирному пространству. Приблизилась любимая Историчка. На все мои попытки сделать там хоть какой-то ремонт он наложил вето. Осенние листья так и оставались на стенах до его выезда. Но дышалось там ему действительно хорошо.

Постепенно он вошел в рабочую колею, и в 2006 году был закончен роман «Будьте как дети». Толчком к этому роману стали материалы по быту и жизни больного Ленина в Горках, на которые Володя наткнулся в Историчке (меню обедов, организация охраны, визиты врачей). А метафора хождения по лунной дорожке с юности не давала ему покоя: после «Сказок о Щене» он начал писать, но забросил стихотворную сказочку, где звери решают отправиться на Луну именно этим путем.

Володя очень ценил странные совпадения своей фантазии и жизни, считал их подтверждением собственных невероятных выражений. А этих совпадений была бездна. Он несколько раз находил фамилии своих героев в энциклопедиях, и эти люди имели те же профессии, что и у него, в уже опубликованных романах. Уже написав кусок о детских считалках как древних арамейских молитвах, он в той же Историчке нашел почти идентичный кусок, только с другими текстами, в этнографических записках 1920-х годов, по-моему, Иркутского университета. Я сама выписала ему эту книгу – у него был ужасный почерк, и библиотекари не понимали его требований. Это случилось через несколько лет после выхода романа, когда он искал материалы по бытовой истории Сибири. Он был в полном восторге.

Название у него всегда рождалось сразу, как только первая часть текста разгонялась. «Детский» роман, написанный в квартире с кленовыми листьями на стене, сначала он хотел назвать «Малые дети», но быстро придумал новый вариант заглавия.

Книга была издана «Вагриусом» незадолго до его закрытия. Роман получился невероятный, было ясно, что столь же невероятно будет проигнорировать его появление. И действительно, в сентябре 2008 года Володя получил за него премию «Проза года» на ММКВЯ. Люди, близкие к «премиальным делам», намекали ему, что это только начало. «Будьте как дети» вошел в шорт-листы «Русского Букера» и «Большой книги».

Накануне вручения «Русского Букера» к нему приехала бригада НТВ, с ним сняли большое часовое интервью. Он резонно спрашивал: «А откуда вы знаете, что я получу „Букера“?» Ему отвечали: «Мы знаем». На церемонии его пересаживали поближе к проходу между рядами, чтобы проще выбраться. Но судьба в чьем-то недобром для Володи лице судила иначе. «Букера» он тогда не получил. Это были не шибко приятные события. И надо добавить, что

пришлись они на обычную опустошенность после выхода книги. Но на этом фоне все же было одно приятное обстоятельство.

Незадолго до того созданное издательство «ArsisBooks» предложило Володе издать иллюстрированный трехтомник. Издание получилось очень нарядное. Часть экземпляров комплектовалась в красивые подарочные коробки. Туда вошли три книги: «Репетиции», «До и во время» и сборник исторических эссе «Искушение революцией». Все книги были оформлены замечательными иллюстрациями художника Александра Смирнова, который очень тонко ощущал и понимал Володины тексты. Трудностей при подготовке издания было немало, но с него во многом начались и настоящая популярность Шарова-писателя, и, в свою очередь, становление нового издательства, которому в 2018 году исполнилось десять лет.

Постепенно неприятная пустота, усугубленная странной «премиальной» историей, начала отступать, и двинулась работа над новым романом. Толчком стала поездка Володи в 2009 году во Францию, где в Париже он делал доклад на конференции к двухсотлетию Н. В. Гоголя. Гоголь его всегда занимал, еще в «Репетициях» есть вставка о «Носе», который Володя связывал и с собой как обладателем внушительного носа, и со своим днем рождения; с Гоголем он вообще проводил иронические, но родственные параллели. И вот, готовясь к выступлению, погрузившись на самой конференции в гоголевскую атмосферу, он постепенно втянулся в работу, начал искать нестандартные повороты в гоголевских сюжетах. Прочитал массу писем Гоголя и к Гоголю. Так возникают новые трактовки «Ревизора» и само продолжение «Мертвых душ». Остальное подверстывается.

А подверстывалась давняя Володина благодарность Народному архиву, в который он ходил еще в 1990-х. Он очень часто просто к слову вспоминал его. Это было странное для России демократическое образование конца 1980 – 1990-х годов, созданное на базе Историко-архивного института; оно принимало на хранение все документальные остатки жизни рядовых граждан – от «счастливых» трамвайных билетиков и конфетных оберток до дневников и документов неформальных организаций. Володя ходил туда несколько раз, когда архив располагался еще на Никольской улице.

Ничего прямо подходящего для своей работы он там не нашел, разве что блокнотик с записью еженедельных трат 1930-х годов, который он «подарил» Коле Кульбарсову в «Воскрешении Лазаря». Но сам факт создания такой институции в России, где от личных документов избавлялись как от чумы, его потрясал. Ему очень нравилась дружественная, но одновременно и рабочая атмосфера в архиве. Все старались ему быстро помочь, при этом сотрудники всегда занимались своими текущими делами. В архиве проходили стажировку студенты и аспиранты МГИАИ. И как Володя сокрушался в 2005 году, что для Народного архива не нашлось ни нормального помещения, ни денег и короба с делами перевезли в Российский государственный архив новейшей истории.

И вот Народный архив стал одним из героев романа о Гоголе, о России, о грехе и покаянии, о свободе и рабстве – «Возвращения в Египет». К архиву присоединился и другой герой Володиной писательской жизни – журнал «Знамя». Одно время архив и редакция соседствовали на Никольской улице.

А последний из героев романа, чудом выживший меньшевик-интернационалист Евтихий, – это юношеское потрясение Володи: общение у родительских друзей с Яковом Юлиановичем Якубовичем, который жил в доме для престарелых где-то под Карагандой и каждый год летом, пока был в силах, приезжал в Москву погостить к Надежде Марковне Улановской. Я помню, как провожала Володю к Надежде Марковне – мои родители жили совсем близко, по другую сторону от Курского вокзала – и Володя изумленно повторял: как Якубович может все помнить, как будто это было вчера? Как он может с юношеской яростью отстаивать то, во что верил больше полувека назад? Как и Евтихий в «Возвращении в Египет», Якубович у себя

под Карагандой тоже боролся за поблажки насельникам дома для престарелых: чтоб администрация не снимала занавесок с дверей и люди сохраняли хотя бы иллюзию уединения.

«Возвращение в Египет» имело более удачную премиальную судьбу, чем «Будьте как дети». Дело дошло до победного конца, и 2014–2015 годы были для Володи орденосносными. Он получил, хотя опять с таинственными ошибками вручающего (ему то давали премиальный конверт, то забирали его, то объясняли, что ему полагается другой конверт – не лауреатский), «Русского Букера-2014», «Студенческого Букера», третью премию «Большой книги 2014» и премию Союза писателей Москвы «Венец». А в 2015 году в Нью-Йорке перевод на английский язык романа «До и во время», выполненный замечательным английским переводчиком Оливером Реди, получил премию «Read Russia». В том же 2015 году Володя стал «Писателем года» по версии журнала «GQ». Ему была очень приятна оценка молодежи: «Студенческому Букеру» и премии от «GQ» он радовался не меньше, чем «взрослым» премиям.

Когда «Возвращение в Египет» уже сдавалось в издательство, наша давнишняя и близкая приятельница Таня Савицкая привела Володю в библиотеку «Мемориала», с которым по разным направлениям сотрудничала; там Володя познакомился с директором библиотеки Борисом Беленкиным. Володя давно интересовался фигурой «первого царубийцы» – большевиком из Перми Гавриилом Мясниковым. Интересовали его и самозванцы – еще со времен защиты диссертации по русской истории XVII века. И вот связанные с этими сюжетами материалы не просто были в «Мемориале», но Борис Беленкин оказался публикатором и автором статьи и комментариев к единственной книге Гавриила Мясникова «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова». Борис дал Володе также сборники документов «Воскресшие Романовы?» (материалы рассекреченных следственных дел по истории самозванства в России XX века). Известно, что в XX веке около 250 самозванцев выдавали себя за членов погибшей царской семьи. Володю интересовал именно убитый Великий князь Михаил Романов и его самозванцы – раз уже он зацепился за Г. Мясникова.

Листал Володя и другие дела. И хотя не помню ни одного цитирования (кроме фрагмента из книги Г. Мясникова в последнем романе «Царство Агамемнона»), подобное чтение его как бы оплодотворяло, давало ощутить дух того, о чем будет писаться дальше, насыщало фантазию.

Походы в «Мемориал» подарили также несколько великолепных эссе (они выходили в разных изданиях и частично вошли в сборник «Перекрестное опыление») и единственный написанный Володей рассказ «Апрель» (по заказу «Сноба», опубликован в декабрьском номере за 2013 год).

Володя много общался тогда с Борисом Беленкиным, был благодарен за книгу воспоминаний матери Бориса Лоры Беленкиной «Окнами на Сретенку» (М.: АСТ: Corpus, 2013) и позднее – писательнице Наталье Громовой, с которой тоже подружился, за ее собственные книги и за огромные воспоминания Варвары Малахиевой-Мирович «Маятник жизни моей» (Дневник русской женщины. 1930–1951. М.: АСТ, 2015), подготовленные Наташей к печати.

Тогда же он очень много ездил с выступлениями по стране, был на Алтае, на севере – в Мурманске, в Красноярске, на Урале. И вот в его новом романе, который стал писаться после «Возвращения в Египет», впервые зазвучали «непрямые диалоги». Это могли быть протоколы допросов, а могли – воспоминания или дневники. Точнее, все это и раньше было в его текстах, но здесь голос повествователя отступал на второй план.

Толчком же к девятому роману стал один вечер, когда в гостях Володя услышал фразу, вошедшую в текст. Обсуждались сталинские репрессии, и один наш старый приятель, православный человек, сказал: «Да, все страшно, но зато теперь у Русской земли много молитвенников перед Господом. Столько святых-страстотерпцев, сколько дало сталинское время, Россия еще не знала».

Володя был потрясен.

Работа пошла быстро, но кусками, фрагментами. Так бывало всегда, самым ответственным моментом становилось выстраивание из них целого.

Он не работал на компьютере, печатал на машинке – и из-за зрения, и из-за неврологических проблем. Поэтому каждый роман в машинописном виде занимал все поверхности в том жилье, где Володя находился. Помню, на даче в Тучково, когда писалось «Возвращение в Египет», бумаги лежали повсеместно на обоих этажах. Потом Володя разобрался в группах писем и проложил ими том «Исторической энциклопедии» в том порядке, в каком они должны были следовать.

Когда выяснилось, что у Володи онкология, но какая – неясно, ни один тест не дал точного диагноза, сын спешно отправил нас в Германию, где был знакомый врач. Там диагноз поставили: агрессивная В-клеточная лимфома. Боясь не успеть, Володя работал уже с маленькими промежутками на некрепкий сон. Текст сложился очень быстро, Володя склеивал бесконечные «простыни» из исписанных страниц. Я резала, тоже клеила, переписывала нечитаемые фрагменты, расставляла знаки препинания, как всегда, приводя текст в порядок для машинистки.

Сын забирал готовые части романа в Москву, передавал моей тезке Ольге Владимировне для перепечатки – она была и нашей соседкой по «Аэропорту». Она посылала мне готовые файлы по электронной почте, я распечатывала их в крошечном копировальном офисе рядом с Мюнхенским университетом. И дальше шла бесконечная правка – ее я уже могла вносить сама. Володя делал ее в три «слоя» тремя разными цветами: синим, зеленым и красным, чтобы мне не запутаться с тем, что уже внесено.

Роман «Царство Агамемнона» вышел в свет в издательстве «АСТ» в конце июля 2018 года, за три недели до того, как Володи не стало. Сотрудники редакции Елены Шубиной сделали все, чтобы книга появилась как можно скорее после фрагмента, опубликованного в журнале «Знамя». Сын привез сигнальный экземпляр в Израиль, где Володя находился в клинике. Он был счастлив.

Самой последней книгой Володи стал сборник биографических эссе «Перекрестное опыление». Его он сложил, выправив и переделав все входящие в него тексты до второй атаки болезни, написал связки. В последнее лето перед его болезнью мы близко сошлись с нашими соседями по даче в Тучково. Каждый вечер собирались и болтали допоздна за вином и свежезакопченной рыбой. Слушая Володины рассказы, все дружно говорили ему: это надо записать. Но многое уже было написано. И вот он решил собрать готовые, но разрозненные биографические эссе в отдельную книжку: о людях и местах, о книгах и мыслях, которые оказали на него влияние. Туда вошли очерки об отце, о Второй школе, о Воронеже, о друзьях, о том, как писался один из любимых Володиных романов «Репетиции», и много других. Он составил список текстов, которые хотел включить в книгу, мы их распечатали, и, как только был сдан в издательство роман, Володя принялся править эти тексты и писать связки.

Потом начался рецидив, и мы направились на лечение. В самолете наши места были далеко друг от друга, и помню, как Володя курсировал ко мне, сделав очередную часть правки, а я сидела у окна с ноутбуком и старалась как можно быстрее ее вносить. Через месяц, закончив эту работу, Володя сказал: «Похоже, я в этой жизни сделал все, что мог, а теперь и отдал свои долги».

Сборник «Перекрестное опыление» увидел свет уже после ухода Володи, презентация прошла на ярмарке «Non-fiction» в декабре 2018 года. Книга была сделана издательством «ArsisBooks» и, в первую очередь, его главой Розой Зариповой с большой любовью и редким пониманием Володи и как автора, и как личности.

Прошел год после Володиного ухода. А меня никак не покидает чувство, что меня будто потерли ластиком. Я хожу – пью – ем – работаю – разговариваю с людьми, но все как-то странно притупилось.

У Володи были тяжелые болезни, непростой характер, сложная работа, в жертву которой приносилось все. И пока он был жив, у меня было много своей правды, но вместе с ним она ушла. Я помню, что то же самое говорил и он, когда умер его отец.

И еще: раньше я думала, что все истории про часы, которые остановились в момент смерти человека, это просто красивые истории. Утром мне позвонили из реанимации сказать, что температура спала и можно немного расслабиться, но через час, когда я была на выходе в больницу (днем в отделение пускали), раздался еще один звонок. Володи не стало. И первое, на что упал взгляд, – его вдруг остановившиеся часы.

БЕГУН И КОРАБЛЬ

Михаил Шишкин

Мое первое впечатление от твоей прозы – гигантский оползень, земля уходит из-под ног, только скатываешься в пропасть не с куском берега, а со всей страной и историей.

Мы познакомились на «четвергах». Сколько лет прошло? Почти сорок?

Отсюда, с этого берега жизни, ты в том времени видишься мне совсем юнцом. Сколько тебе было? 27? 28? Долговязый, худой, улыбка до ушей, уйма рыжих невымытых волос, дерзкая борода. Но тогдашнему мне – у нас девять лет разницы – ты казался библейским мудрым старцем. Ты и был им.

Мы собирались по четвергам на разных квартирах, человек десять. Новые лица то появлялись, то исчезали. Ритуал был прост и неизменен: сперва кто-то читал свой текст, потом по кругу шло обсуждение, потом пили чай. Ничего особенного, но не знаю, как тот юноша, которым я был тогда, смог бы выжить без этой еженедельной порции счастья. Юноша захлебывался в советской жиже, а эти встречи с себе подобными спасали, как глотки воздуха. Я родом из «четверга». Когда-нибудь напишу.

В «Возвращении в Египет» ты рассказываешь о секте бегунов. Эти люди из-за невозможности изменить тот страшный мир, в который их родили, бегут от власти, государства, ненависти, лжи. Дома, в которых они находят друг друга, – корабли.

Это же про тебя, про нас. Это мы были бегунами. «Четверг» был моим кораблем. У тебя были свои – в Москве, в Воронеже, в Ленинграде. Мы все были бегунами от рук одного брадобрея. Пока была возможность бежать, мы бежали. Лучше всего сказала Надежда Мандельштам, что мы все живем, как на кухонной полке у сытого людоеда. Мы бегали по кухонной полке, превращая бегство в праздник. Праздник на полке нельзя откладывать.

У меня в мои восемнадцать было две мечты: стать писателем и объездить весь мир. Осознание, что меня никогда не напечатают и никуда не выпустят, – инициация в мир бегунов и кораблей.

Наши корабли искали друг друга в океане лжи. Нам казалось, что трюмы набиты истиной. Истина была запрещена. Ее нужно было прятать, беречь, передавать друг другу тайком. Истина была сокровенна и жила в словах, в книгах. Слова были ее телом. Мир был ясен и прост: мы должны спасти слова, слова должны будут спасти нас.

Нас, тех бегунов, за десятилетия раскидало по всему свету.

Рано или поздно понимаешь: никакой сокровенной истины ни в каких словах нет, а корабль есть только один, огромный, без огней и команды, который всех нас одного за другим заберет с собой. Вот ты уже на борту.

Как писатель ты был всю жизнь в литературном первобытном лесу одиночкой. Всегда легче выжить в стае, а ты, по русским тюремным понятиям, жил кабаном. Тебя нельзя было ни к кому примкнуть, на тебе трещали по швам все доступные критикам измы. Тебя называли в редких статьях «один из самых загадочных современных писателей».

Ты был для них всех чужаком. Они не понимали, как с тобой обращаться. Ты вон какой вымахал, а они – литературные поплавки. Им снизу не видны были лычки на погонах, вот и растерялись.

В прежнем мире, где к самому понятию «литература» намертво присосался Союз советских писателей, ты со своими романами не мог существовать просто по законам физики. А потом их мироздание рассыпалось, начальство о них забыло, пайки перестали выписывать.

Оказалось, что литература – это вовсе не они. Своим романом ты протаранил новомирскую спасательную шлюпку.

Ты никого не хотел ни задеть, ни обидеть. Зная тебя, невозможно представить себе, чтобы ты кому-то хотел зла. Ты совершенно искренне не мог понять, откуда такой вал ненависти и злобы.

Они шли на дно. Их вопль – знаменитая скандальная статья «Сор из избы» – был на самом деле криком о помощи. Прошло четверть века, и время все расставляет по местам. Ты обеспечил им упоминание в истории русской словесности.

Как бы литературный ландшафт в России ни менялся, ты так и не пришелся ко двору. До самых последних лет тебя игнорировали жюри премий, твои книги жили в закулисье. Для литературного мейнстрима ты долгие годы был юродивым на обочине.

Рутинно берясь за пересказ содержания твоих книг, рецензенты начинали своими словами перечислять все бросавшиеся в глаза нелепицы: мадам де Сталь рождает Сталина, рукопись прячется в бутылку и после смерти зашивается автору в живот, Ленин ведет беспризорных детей через море «аки по суху» в крестовый поход на Иерусалим, сталинские репрессии придуманы для спасения душ через умерщвление плоти, а Россию спасти можно, лишь дописав за Гоголя сожженный том «Мертвых душ». Твои романы нельзя пересказывать, не вводя читателя в заблуждение, потому что содержание твоих романов – вовсе не эта клоунада.

Тебя пытались засунуть на полку с историческими романами, привязывали тебя к диссертации, которую ты защитил по Смутному времени, а ты – историк будущего. Твои романы – не попытка придать смысл людоедскому русскому прошлому, а штормовое предупреждение. Они все не о прошлом, а о будущем. О будущем, которое уже наступило. Все твои романы – попытки достучаться, предупредить, спасти.

По нашей стране в XX веке пронесся ураган безумия. Сколько миллионов жизней он унес – никто никогда не сможет подсчитать. Для тебя этот ураган никогда не заканчивался – мы просто оказались в затихшем «глазе» этого циклона. Ты был специалистом по Смутному времени, и тебе было очевидно, что в России всегда Смута, которая лишь на время останавливается, чтобы отдышаться.

Для нас прошлое – картинки в школьном учебнике, фильмы с ряжеными актерами в париках, допотопные пушки у входа в курортный музей, жерла которых забиты стаканчиками от мороженого, или дискуссии экспертов о цифрах потерь в войнах и голодоморах, которые то ли были, то ли нет. Для тебя прошлое – это карта, на которой видно, как образуются исторические ураганы, откуда и куда текут реки крови. Так метеоролог видит на снимках из космоса, как возникают циклоны и антициклоны, штормы и смерчи, которые принесут людям потери и несчастья, но он не в силах ни остановить гибель и разрушения, ни ослабить мощь стихии. Он может лишь понимать и предупреждать.

Место зарождения русской катастрофы ты отметил крестиком на безымянной высоте: «Вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть Ромейское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». На твоей карте все как на ладони: Москва – новый Иерусалим, Русь – новый Израиль, русские – избранный народ.

Эту карту населяют особые люди. Они ищут истину. Они ищут веру, не столь важно какую, в Иегову или Маркса, но вера должна быть настоящей, огромной, обжигающей. Их души всасывает в себя космос, и нужно заполнить эту вселенскую пустоту такой же по размерам вселенской верой.

В ценность своей собственной жизни они верят с трудом, а в конец света легко. Они ждут прихода хоть Христа, хоть Антихриста, хоть кого-нибудь. Они наивны, как дети. Они верят всему. Они верят во второе пришествие и всеобщее воскрешение. Они верят, что живут на Святой земле и высокий смысл их существования – в борьбе с супостатами. Скажут им, что

кругом царство антихриста, что царство Божие на небе, будут себя сжигать, дымом уходить в облака. Скажут им, что царство Божие на земле, будут защищать его, не щадя ни своей жизни, ни чужой, ставить к стенке, пускать в расход, шлепать ради всемирного счастья. Что может быть слаще смерти за истинную веру православную, за святую Русь, за мировую революцию, за родину, за Сталина, русские своих не бросают?

Народ, который бродит по твоей карте, – из семени Аввакумова. Им – про надбавочную стоимость и борьбу классов, они – про спасение души. На митингах выступают троцкие и ленины, но в горячечном бреде про мировую революцию этот народ слышит проповеди Аввакума о гибели грешного мира и начале новой светлой жизни. Мировой пожар – продолжение его гари.

Они готовы отказаться от всего прошлого, отречься от родных, от тела, от плоти – главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку исправиться и начать жить праведно, в соответствии с Божьими заветами, с борьбой за мировую революцию. Как могут, умерщвляют они свою плоть, чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а плоти – этих вериг, которые тянут человека в грех, на дно, в ад – было меньше.

Насельники твоей карты отказываются от тварного вещного мира, понимают, что нужно страдать, что без страдания, мучений, голода, поста – очищение, спасение невозможно; они готовы ради великой цели принять любые страдания, любые муки.

Для любви, которой движутся и море, и Гомер, на твоей карте не нашлось даже условных обозначений, но вся твоя география – о любви к Богу. Все законы человеческой природы упразднены: населению не до детей, не до семьи, не до дома. Личное счастье, супружеская жизнь приносятся в жертву великой идее всеобщего спасения. Общему делу подчинено все, вплоть до самого главного – рождения ребенка. Каждая женщина – Мария, живущая для рождения Спасителя, будь то Христос или Коля Гоголь.

Все дороги на твоей карте ведут кругами и кренделями в одну сторону. Иди хоть на Новгород с опричниками, на Берлин с танковым корпусом генерала Бойко, на Магадан с этапом – все равно все дороги ведут к Богу, ибо ведет их власть, а тому, кто наверху, – виднее.

Им сказали, что царь – от Бога, что он – отец правоверного народа, защитник Святого града, велика Россия, а отступать некуда, кругом – океан бесконечного зла. Не только восставать, но даже противиться царскому гневу – значит противиться воле Божьей, что есть смертный грех. Нужно объединить все народы мира под властью православного царя и тем самым превратить земной шар в Святую землю, а когда вся земля будет такая, тогда Христос и явится. Задача власти: расширение территории истинной веры, невзирая ни на какие жертвы. Раньше думай о родине, а потом о себе. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Там правят скопцы, мечтающие оскотить весь мир. Истинный государь женат на ландкарте.

Цари бывают настоящие и ненастоящие. Если карта прирастает, если другие народы склоняются перед московским самодержцем, как некогда посохи магов – перед посохом Моисея, то в этом благословение Божие замордованному населению, что преданно тянет веками лямку и геройски проливает кровь за святое отечество. И тогда не так важно, как царь пришел к власти и как правил своими подданными. Он может истреблять их миллионами, тысячами разрушать храмы, расстреливать священников. Важно лишь, что царь – настоящий, потому что враги трепещут, а святая Земля множится.

И наоборот, военные неудачи, утрата даже небольшой части Святой земли – ясный знак для подданных, что царь неблагословен, неистинен и незаконен. Проиграл Японскую, не смог одолеть Чечню – значит, в обличье царя на троне сидит «вор» и самозванец. Иначе почему Господь от него и от своей Святой земли отвернулся?

Поколение идет за поколением по твоей карте и каждый раз промахивается мимо домика с аистом на крыше и проваливается в спасение души: за царя и отечество, наше дело правое,

все для фронта все для победы, крымнаш, вставание с колен и т. д. и т. п. У спасения души заготовлено много аватаров. Они повторяют, как мантру, что их отчизна – святая земля, что она «натуральный всамделишный рай... Пусть мы через одного голы и босы, зато счастливы, да и Адам был гол». «Да хоть камни с неба – мы на родине!» А железный занавес – чтобы не измараться, не смешать сакральное с тварным.

И если кто-то заикнется, что вот это бескрайнее безвременье на карте – никакая не святая Земля, а самый что ни на есть Египет и есть, его высочайшим повелением объявляют сумасшедшим, расстреливают в Бутовском овраге, отправляют грызть снег в Ивдель, сжигают его чучело у метро «Аэропорт», обливают, на худой конец, мочой из банки как нацпредателя.

Чуть ли не половину твоей карты занимает Николай Федоров. Там нет гор, все скрыты. Низины засыпаны, всюду ровное поле. Вместо рек, текущих по собственной прихоти, – ровные каналы. Города, главные прибежища разврата, роскоши и неравенства, уничтожены. Весь земной шар подчинен русской православной короне. Второе пришествие рукотворно. Нечего ждать милостей у Христа, взять их у Него – наша задача. Святой русский народ может и без Его помощи спасти весь род человеческий. Смерти нет, ребята! Не обязательно ждать ни антихриста, ни Страшного суда, все устроим сами. Для общего дела построения рая на земле создаются трудовые армии. Вот распашем целину и возьмемся за воскрешение мертвых. В царство правды и вечной жизни – в ногу.

Федоров – квинтэссенция русской катастрофы. С Христом ли, с Марксом – все кончается ГУЛАГом.

Расстояние – подлая штука. Мы встречались все реже, но в каждый мой приезд в Москву обязательно виделись. Ты сдавал отцовскую квартиру в писательском доме и снимал где-то. Я приезжал к тебе то на «Аэропорт», то куда-то на Песчаные, то в Беляево. Приходила Оля, увешанная сумками с продуктами, готовила, кормила. Твой добрый ангел. У меня все было сложно, а твоя Оля казалась идеалом жены писателя. Может, так оно и было.

Оля – единственный человек, кто мог расшифровать твои каракули. Ты потом отдал свой почерк Жестовскому в «Царстве Агамемнона». Она переписывала твои тексты, вычитывала верстку. Она вела всю твою переписку – ты же вообще не знал, с какого бока подойти к компьютеру. Ты мог лишь выстукивать двумя пальцами на пишущей машинке. Ты вообще любил писать от руки, говорил: «Бумага теплая». Помню твои тексты – ты никогда не останавливался, правил машинопись, исчеркивал все страницы между строк и на полях, потом Оля снова все перепечатывала – и так по многу раз.

Представляю себе, как ей было с тобой трудно. Оля была всю жизнь в твоей тени, но она примерила на себя эту тень, как судьбу. Она сама и была твоей счастливой судьбой. Без этого удивительного человека не было бы твоих романов, вообще ничего бы в твоей жизни не было. Ты сам про это говорил.

Однажды я приехал летом, в разгар чемпионата Европы по футболу. Оля, как всегда, накрыла роскошный стол с малосольными огурцами, маринованными грибочками, помидорами с кинзой, картошкой в укропе, ледяной водкой из морозилки. Датчане проиграли, но ты помнишь, какой роскошный гол забил Лаудруп! Потом мы пошли гулять, и ты, веселый от водки, рассказывал байки, которые слышал от отца, про то, как на Ямале в пургу он замерзает в тундре под снегом и его спасает друг, случайно спотыкнувшись о снежный холмик; или как в войну твой отец врывается первым в немецкий город и освобождает публичный дом; или как пьяный забредает на минное поле и спит на мине, как на подушке. Эти рассказы не были небылицами Мюнхгаузена. Это просто другая правда.

Одна история была про чуму. В 1938 году твой отец-орденоносец, спецкор «Известий» приходит брать интервью на квартиру к Абраму Берлину, знаменитому ученому, который хочет создать вакцину от чумы и испытывает ее на себе. Корреспонденту показывают пробирку

с чумными блохами. Пробирку отец случайно открывает, одна блоха пропадает. Многомиллионному городу грозит смертельная эпидемия. Отец звонит в газету, получает указание закрыть наглухо все окна и двери. В течение недели – инкубационный период – отца и Берлина караулят чекисты. Еду им просовывают в щель для почты. Неделю они ждут смерти. Конец истории оптимистический – все живы, а Берлин создает вакцину, которая спасает жизнь многим миллионам людей.

Один клик в интернете – и из небытия встают совсем другой Берлин и совсем другая история. Вакцину от чумы открыли давно, до Берлина, а в Саратове в засекреченном институте он трудился над разработкой бактериологического оружия. Опыты проводились над заключенными. В 1939 году он приехал на совещание в Москву, и у него открылись все симптомы чумы. Для предотвращения эпидемии было задействовано НКВД. Все контактировавшие с Берлиным были срочно изолированы в больнице на Соколиной Горе. Чтобы избежать паники, произносить слово «чума» было запрещено. Меры пресечения маскировались под аресты, которые ни у кого не вызвали никаких вопросов. Погибли от чумы три человека, в том числе Абрам Берлин. Вот такая история. Taste the difference.

Мне кажется, без понимания твоего отношения к отцу, к твоим предкам невозможно настоящему понять твои романы.

Как всякий ребенок, ты хотел самой обыкновенной семьи – с бабушками и дедушками, но самое обыкновенное было убито эпохой. Ты был единственным ребенком, а твоих дедушку и бабушку расстреляли задолго до твоего рождения. Еще один дед умер в тюрьме, а единственная бабушка, которую ты знал, пять лет отсидела в лагере для жен изменников родины.

Даже имя – свидетель страха. Шера Нюренберг, чтобы выжить, должен был стать Александром Шаровым. Твой отец сменил имя после ареста родителей.

Мне кажется, твоя зацикленность на идее «воскрешения отцов» во многом идет из детского желания воскресить своих деда и бабушку, из нерационального чувства вины перед ними, не дожившими до старости и внука, ведь так хотелось, чтобы все умирали, как положено природой или Богом, в своих постелях, а не от пули в затылок.

Невозможно представить себе, что творилось в душе твоего отца, у которого родителей только что казнили, а он должен был летать от газеты в полярные командировки и восторженно описывать арктические достижения палачей. Его отец – Израиль Нюренберг – погиб в ГУЛАГе, мать – Фани Липец – расстреляли в 1938-м. Они были профессиональные революционеры, бундовцы, примкнувшие потом к большевикам. Молодые образованные евреи хотели вырваться из бесконечной цепи местечковых толкователей Торы. Им казалось, что Интернационал упразднил религию их предков, что они сами, своими руками могут построить рай на земле. Твои бабушка и дедушка были убиты той властью, за которую они сражались. Все твои романы – попытка ответить на вопрос, почему твои деды и бабки строили рай, а построили ад, почему так получилось, что Россия не стала новой Землей Обетованной, а вернулась в рабство – в Египет.

И на фронт твой отец пошел в июне сорок первого добровольцем. Сколько поколений подцепили все за тот же крючок: Родина-мать зовет! Отечество в опасности! Им казалось, что они защищают отечество, а получалось, что они защищали свое рабство и несли его остальному миру.

Когда после войны начались гонения на «космополитов» и разоблачения псевдонимов, когда стали исчезать ближайшие друзья, твой отец писал агитки под видом научпопа о борьбе американской и советской науки, вроде книги «Жизнь побеждает!» про микробиологов: «Фашистская „наука“ бесконечно слабее передовой, прогрессивной науки. Вся история человечества подтверждает сталинские слова о том, что „великая энергия рождается лишь для великой цели“. Умиравший класс может только уродовать, исказить то, что на благо человечества создали настоящие ученые» и т. д. и т. п. Твой отец должен был славословить убийц

родителей и друзей. Он вынужден был это делать, чтобы выжить, чтобы появился ты. Выдумки Шекспира кажутся по сравнению с этой трагедией детским лепетом. Без понимания этого невозможно понимание твоих романов. В этой трагедии твоей семьи отразились миллионы семейных трагедий всего народа, всей страны.

Александр Шаров ушел потом в детскую литературу, там еще можно было дышать. Твой отец – тоже бегун, а фантастика и сказки – его корабль.

В 1958-м он получил квартиру в писательском кооперативе у «Аэропорта». В то время возвращались люди из лагерей, и многие друзья отца приходили в гости, некоторые просто жили у вас. Они рассказывали то, что видели, через что прошли, а ты все это слушал, ребенком, отроком. Эти люди и стали твоими университетами, живой частью истории страны и времени.

Ты говорил, что самое больное для тебя было то, что люди исчезали и их сразу окружало молчание, будто их никогда и не было. Это молчание было самым страшным. Твои родные, как и миллионы других уничтоженных, уходили в небытие, окруженные молчанием, ничего после себя не оставив. И тебе было важно вернуть им место в истории, понять и восстановить их представления о жизни, о мире, в котором они жили, их понимание добра и зла. Ты всю жизнь писал не о том, как понимаешь Россию и все, что происходило с ней, а о том, как, по твоим представлениям, страна и люди понимали себя.

Ты примеряешь на себя чью-то память. Так легко все на свете теряется, особенно люди. От последнего века уцелели лишь ошметки. Ты возвращаешь всем потерявшимся в складках истории их память, их голос, их надежду, их веру.

Твоим героям чрезвычайно важно знать как можно больше о своих предках, давших им жизнь. Эта потребность у них от тебя – это тебе было важно знать все о своих родителях, об их отцах и матерях, дедах и бабках, родных свидетелях ушедшего времени. Ты это называл «теплой» историей. Не той, что из учебников, а живой, согретой дыханием близких людей, их радостями и печалью. В истории страны, мира тебе важна была именно история семьи, рода. В «Воскрешении Лазаря» ты написал: «Целая жизнь – это жизнь рода, иначе трудно понять, что и для чего, есть ли во всем смысл. Жизнь одного человека чересчур коротка. Маленькие таблички с именами, что мы подвешиваем к ветвям родословного дерева, – те же листья, каждой осенью они опадают, а следующей весной проклевываются другие листья, другое их поколение, дерево же живет и живет».

Ты говорил, что одна человеческая жизнь очень коротка и стремительна, чтобы понять много важных вещей, а когда все разворачивается на протяжении жизни многих поколений, тогда многое становится понятным. Смысл нашей жизни раскрывается в судьбе наших потомков, подобно тому, как мы своей жизнью придаем смысл существованию родителей и дедов наших.

В одном твоём интервью я нашел, как ты сказал очень важные для тебя вещи:

Мне не близки никакие организации и не слишком близки отношения учителя и ученика, хотя я понимаю, что в последних глубокая любовь, нежность, искренность тоже не редкость. И все-таки семья – другое дело. Семья – это территория, где тебя не торопят и не ждут, чтобы ты шел в одну сторону и не менял направление. Это нормально, что ты всегда меняешься, и семье интересно и важно, как ты меняешься. «Учения», «мироспасительные системы» – штука куда более жесткая. Думаю, именно по этой причине многие из них почитают семью за врага. У нас в стране семья была мелкобуржуазным пережитком, и власть ждала, что скоро она отомрет. Если тогда что-то и противостояло злу, то только семья².

² Владимир Шаров: «Если что-то и противостояло злу, то это была семья...» Беседовала Елена Иваницкая // Первое сентября. 2013. № 16; <https://ps.1sept.ru/article.php?ID=201301624>.

Ты сам был счастливым отцом. Помню, как ты всегда рассказывал о детях, радовался их успехам, с какой гордостью говорил о первых публикациях дочки. На тебе лица не было, когда рассказывал, как напали на улице на твоего сына.

Ты был вместе с отцом до самого его ухода. Когда он осмелился на поступок – подписал письмо в защиту Солженицына, – наказание последовало незамедлительно: его книги, уже готовые к печати, запретили, набор рассыпали. Последние годы он писал в стол без какой-либо надежды. Ты рассказывал, как ему было тяжело, какие это были для него мрачные годы, как он пил. И как он был счастлив писать наконец честную, свободную книгу – без страха, без оглядки на цензуру.

Ты много рассказывал мне об отце, говорил, что всем ему обязан, что именно он оказал на тебя как на писателя огромное влияние, что он целиком тебя сформировал, что ты вырабатывал себя, споря с ним. Он учил тебя, что добра с кулаками не бывает, если с кулаками, то это уже не добро. Ты видел, как он отчаянно переживал из-за того, что его корежила цензура, что он не мог писать так, как хотел. И для тебя литература была совершенно немыслима как профессия, он всей своей жизнью научил тебя писать исключительно для себя, свободно. И ты начал писать, понимая, что читателем твоим мог быть только КГБ. Отсюда все эти странные чекисты твоих романов, которым важно каждое написанное твоими героями, то есть тобою, слово, каждая запятая. Ты писал для чекистов, которые рано или поздно придут за твоими текстами и за тобой. И не их вина, что страна сделала очередное сальто-мортале и им стало на какое-то время не до тебя.

Даже после смерти отца ты вел с ним непрекращающийся разговор, и это было больше, чем диалог, это было сотворчество. Идею для твоего, наверно, лучшего романа «Возвращение в Египет» тебе отец подсказал оттуда. Ты говорил об этом в одном интервью: «Я перечитывал собрание сочинений Гоголя и обнаружил на полях комментарии моего отца. Что написано, разобрать не сумел, но пометы были сделаны в тех же местах, на которых останавливался я сам. Пройти мимо таких вещей трудно».

Твой отец был сказочником, публиковал грустные мудрые сказки, но, мне кажется, ты вырос не на них, а именно на его неподцензурных разухабистых байках, полных другой правды о жизни и времени. Все они – о человеческом тепле и вере в чудо. Смысл был не в соответствии с внешней реальностью, а с сутью мироздания. Именно так живет твоя проза. Врач – для спасения людей, а не для убийства. Власть, полиция, тайные службы – для того, чтобы беречь нас. Мы идем в Землю Обетованную, а не возвращаемся в Египет. Суть мироздания – в любви и в вере в чудо.

Наверно, ты любил рассказывать отцовские байки, потому что так ты удерживал отца, не давал ему уйти.

Наверно, и я для этого говорю сейчас с тобой – чтобы удержать хоть ненадолго, не дать тебе сразу уйти.

Мы могли подолгу не видеться, но разговор наш никогда не прерывался. Outlook – хранитель времени и слов.

Тебе о перечитанных «Репетициях»:

Я был совершенно оглушен, смят, завернут в твой текст – и продолжалось так несколько дней, пока не перечитал все. Невозможно было оторваться, хотя отрывать приходилось постоянно – заели всякие дела, к тому же мы переезжаем и т. д. и т. п.

Не знаю, обрадуешься ли ты тому, что я сейчас скажу, или огорчишься, но «Репетиции» – это, на мой, разумеется, взгляд, самый «шаровский» текст из всего, что я у тебя читал. Реальность абсурда завораживает. Я подчиняюсь твоей мощи абсолютно, просто перестаю существовать и из читателя в позу «ну что такого нового может мне тут какой-то еще автор навесить на уши»

становлюсь совершенно буквально частью бесконечного круга, по которому ходят твои евреи, христиане и римляне. Замыкаю разорванный тобой круг. Они идут дальше по мне.

В этом романе совершенно нет «нешаровских» кусков. Все идет с постоянным напряжением и, честно говоря, – возвращаясь к нашему разговору у тебя на кухне – ты обрываешь действие, чтобы перескочить, например, через пару веков и снова его продолжить с потрясающими деталями – в общем-то произвольно. Эти перерывы совершенно не вытекают из потребностей текста. Иногда создается впечатление, что ты мог бы (и должен был бы) рассказывать дальше, но вдруг ты думаешь о том, что уже написал 300 страниц и где-то нужно сокращать, закругляться – в расчете на «общепринятый» объем романа. Такой текст должен, по мне, длиться столько, сколько длится, пусть 800 страниц, пусть 1000.

Из-за того, что ты обрезаешь (извини за невольный каламбур, не хотел) своих героев в одном романе, они – их энергия, их жизненное поле – прорываются, прорастают в других романах, хотя по сути это те же сгустки жизни, которым ты не дал выжить всех себя в предыдущих текстах. Отсюда ощущение, что герои последующих романов идут по тем же кругам, по которым шли предыдущие.

У меня, к сожалению, не получается внятно выразить то, что пришло в голову, но, может, оно и к лучшему. Сам пишущий всегда – читатель-урод. Начинает сразу думать, как можно что-то улучшить, а как бы сделал он (я). Не обращай внимания. Удовольствие от твоего текста – фантастическое.

Ты мне после окончания «Воскрешения Лазаря»:

Таких сложных вещей, и по тому, как мне работалось, и по другим обстоятельствам, у меня в жизни еще не было. Получилось или нет, я и сам толком не знаю, а ты из тех единичных людей, которых я и имею в виду, когда пишу. Мама моя любила цитировать Маяковского: «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят, так что ж. Над родной страной я пройду стороной, как проходит косой дождь». Со страной у меня все в порядке – понят ею я точно не буду, а ты, может, что-то и найдешь в «Лазаре» интересного. Ты, кстати, замечательно меня выучил: я запомнил твои переговоры со «Знаменем» по поводу «Взятия Измаила» и, когда они заикнулись про сокращения, твердо заявил, что вещь снимаю – и все уладилось.

Тебе о «Возвращении в Египет»:

Очень интересно ты говорил про то, как ты раскладывал и тасовал письма. Что-то такое чувствуется в тексте – необязательность именно такого расклада. Но идеи из разных обрывков сами схватываются с соседями и начинают «спариваться». Были бы другие соседи – началось бы спаривание с ними. Но именно в этом, я считаю, сила твоего текста. Ты наконец-то освободился от того, что нужно писать «прозу», то есть соответствовать каким-то представлениям и ожиданиям. В этом тексте ты отказался от «литературы», то есть от всех этих игр по кем-то когда-то придуманным правилам в фабулу и т. д., и оставил только себя в чистом виде – свою прямую речь, излагая свои идеи – и получился гениальный роман.

Корреспондентов Коли могло бы быть в два раза меньше или в два раза больше – не имеет значения, потому что они все равно все говорят твоим языком с твоей интонацией. Герой «Возвращения» все равно межстрочье – все,

что у всех русских писателей, философов и историков между строк. Ты этому ощущаемому, но невысказанному дал голос.

Твой Гоголь, твой Чичиков-старовер, все твои бегуны, корабли, козлы отпущения, сети, все истории и образы – все мощно и неодолимо.

Ты о «Возвращении в Египет». 14-й год. Вокруг смердел крымнаш.

Дорогой Миша!

Я очень-очень тронут и очень благодарен. Посреди всего этого блядства, когда ни о чем невозможно думать, все встало – вдруг какой-то просвет.

Мне всегда казалось, что мы с тобой идем по жизни как бы на пару. Во всяком случае, когда я работаю, кроме тебя, ни с кем другим я не хочу это обсудить, показать, что уже сделано. Я всегда в диалоге с тобой, и его основа, как мне кажется, согласие в самых важных и несущих вещах.

С «Египтом» у меня связаны два обычно плохо сочетаемых ощущения. Я, особенно когда стал виден конец, стал бояться, что все это вызовет только неприятие и раздражение: XIX век слишком канонизирован, чтобы мне это просто так спустили. А с другой стороны, разбивка, дробь текста дала и мне, и «Египту» много воздуха, оттого работалось на удивление легко. Настоящие проблемы начались, только когда пришло время решать, какое письмо за каким пойдет.

Я, честно говоря, на этот счет особо не мандражировал, считал, что обычная человеческая хронология сама все выстроит. Но потом понял, что «Мертвые души» должны быть где-то ближе к середине, а не к концу «Египта», что они не вывод, а основа для других писем. И все сразу посыпалось. Не знаю, может быть, компьютер мне бы тут и помог, а так я три месяца в общем и целом в истерике тасовал и тасовал письма. (Взял 10 томов Исторической энциклопедии, разложил их между ее страницами и, уже мало что понимая, перебрасывал с места на место. Искал то, что должно стоять рядом, предшествовать или идти за).

Вспоминаю наши встречи, как острова, разбросанные по жизни.

В 1998-м я организовал для тебя поездку с выступлениями по Швейцарии. Тебя не знали, приходилось всем объяснять. Деньги на билеты собрало Общество имени Карамзина. Собственно, я это общество и основал. Общество состояло, кроме меня, из нескольких моих знакомых швейцарцев, интересующихся Россией и ее культурой. Они резонно спрашивали: почему именно Шаров, о котором они ничего не слышали? Почему бы не пригласить других, известных авторов? Я отвечал, что через сто лет другие известные авторы сделаются лишь современниками Шарова. Может, они восприняли мой ответ за шутку, решив, что мне просто важно пригласить друга, не знаю. Мне действительно важно было пригласить друга. И вот даже не пришлось ждать сто лет. Уже сейчас мы все становимся твоими современниками.

Ты жил тогда у меня в Цюрихе, в нашей квартире на Wehntalerstrasse. Этого уютного довоенного дома уже больше нет, снесли, построили на его месте что-то бетонное, серое, чужое.

Вижу, как сейчас, тебя за завтраком: в белой мятой футболке, с крошками хлеба в перепутанной бороде, веселого, утреннего. В быту, в повседневном общении ты был очень легким, с тобой все было просто, радостно, захватывающе. Вот ты намазываешь круассан джемом и говоришь о том, что воспринимаешь Библию именно буквально. Это ты отвечаешь на мои возражения, что создание мира, и человека, и всего остального – все-таки метафора.

Для тебя мир был написанной Богом книгой. Бог – автор всех живущих и неживых, это все его дети. Ты говорил, что в русской истории все замешено на вере, что Библия и сейчас

так же жива, как была, когда ее писали. Для тебя народы, живущие в «библиосфере», иудеи, христиане, мусульмане всей своей жизнью, каждым своим шагом, каждым «да» и каждым «нет» комментируют Священное Писание. Ты же просто эти комментарии записывал. Русская катастрофа, революция, ГУЛАГ были для тебя такими кровавыми комментариями к откровению Господа. Да и само это откровение человеческому роду растянулось на много десятков и даже сотен поколений, потому что откровение – это дорога, это путь. Движение соков от корней к веткам по дереву рода, от деда к отцу, от отца к сыну – это путь понимания, путь изгнания из Рая, путь возвращения в него, и все это разворачивается на протяжении многих веков. Библейский Исход из Египта – это тоже дело не одного поколения.

В понимании этого откровения для тебя и заключался смысл занятия историей, литературой, культурой. Культура для тебя была прежде всего накоплением памяти, опыта многих поколений, а главной трагедией – утрата этого опыта в России XX века, отсутствие памяти, забвение.

Наша история представлялась тебе не Книгой Бытия, а книгой комментариев к Бытию. Ты считал, что вся русская культура – это комментарий к Священному Писанию, и жизнь каждого отдельного человека тоже: после того как Москва стала Третьим Римом, русский народ стал считать себя новым избранным народом Божиим, а свою землю – новой Землей Обетованной, мы приняли всю библейскую историю, взвалили на себя. Поэтому и революция, и Гражданская война были восприняты как финальная схватка добра и зла, и коммунизм был соотнесен с Небесным Иерусалимом. Твой Федоров дает новый комментарий к Евангелиям Христа, твои большевики – к Федорову.

И свою жизнь, и жизнь каждого человека ты воспринимал так же. Хаотичные, не связанные между собой вещи с течением времени сами собой соединяются, становятся друг для друга чем-то вроде комментариев и толкований, и вдруг в какой-то момент все связывается воедино, придает смысл самой жизни, в которой, как выясняется, случайного не так уж много. Наше бытие не простое повторение, не репетиции библейских сюжетов, а комментарий, попытка понимания и собственной жизни, и жизни тех, кто нам предшествовал. Мы репетируем будущее.

Ты все свои мысли отдавал своим героям. В «Воскрешении Лазаря» Николай Кульбарсов говорит: «Мы от рождения до смерти только и делаем, что своей жизнью, своей судьбой Библию комментируем»³. И твои романы – это вовсе не проза, это толкование Божьего мира. При этом тебе было важно, что это не ты даешь комментарии, ты только их записываешь, а дает их само наше понимание жизни, судьбы, предназначения.

Запомнилось, как ты говорил про буквальность Божьего мира, а я вдруг очень остро почувствовал, как сквозь тебя проступили твои предки, которые столетиями и тысячелетиями вчитывались в Тору, пытались понять скрытый священный смысл каждого написанного в ней слова. Твои дед и бабушка отреклись от веры своего рода, поверив в коммунизм, их ветки обрезают, а тобою дерево прирастало дальше.

Твои слова: «Огромная часть Библии – генеалогия: кто кого родил, и кто от кого пошел, и кто почему что совершил. И для меня это важно – и очень ярко. Для меня важнейшая идея – идея рода». Ты говорил, что раньше разговор людей с их предками был для них важнее, чем с современниками. Род соединял времена и пронизывал живую историю. Мне кажется, все творчество твое – бесконечный разговор с отцом о Книге и о жизни, прорастающей сквозь буквы.

Ты ни к какой конфессии не принадлежал, не соблюдал никаких обрядов, правил. Во всяком случае, никакая церковь тебя бы не приняла. Ты просто радовался разнообразию Божьего мира. Вот длинная цитата из «Воскрешения Лазаря», но в ней – весь ты:

³ Шаров В. Воскрешение Лазаря. М.: Вагриус, 2003. С. 88.

Как известно, Господь, чтобы не дать людям достроить башню, смешал языки. Принято считать – так можно понять и Библию, – что тем самым род человеческий был тяжко наказан, я же убежден, что для человека это было благодеянием. В чем оно? Созданный Богом мир был куда сложнее и прекраснее, чем понимал его человек. И вот Бог смешал языки, люди перестали понимать друг друга, рассорились и разошлись в разные стороны; на следующее утро, злые, мрачные, они встали и вдруг увидели землю сквозь слова десятков наречий. Мир был тот же, что и вчера, тот же Божий мир, но увиден он был заново и впервые, все как бы сделалось выпукло, приобрело цвет, фактуру, объем. Любой переводчик тебе скажет, что сколь он ни мастеровит, добросовестен, перевести книгу, что называется, один в один – невозможно, и это из-за нутряных особенностей языка. Слово само себе не равно, текст будто живой, играет с тобой, непрерывно движется, пульсирует, и главное, он ведь всегда комментарий, всегда твое собственное понимание того, что хотел сказать нам Господь⁴.

Для тебя каждый человек был создан Творцом по своему образу и подобию, это значит – творцом. Мы созданы полноправными творцами, творим добро и зло, можем сотворить рай на земле, но творим чудовищные преступления снова и снова.

Сейчас я задал бы тебе вопрос, на который тогда не решился: веришь ли ты в Бога и в воскресение?

Теперь ты знаешь об этом обо всем больше, чем мы тут.

Я возил тебя тогда на выступления в Цюрихе, Базеле, Женеве.

В Лозанне мы заехали в издательство «L'Âge d'Homme». Владимир Дмитриевич – легендарный издатель. Юношей он посидел в тюрьме у Тито, потом бежал на Запад. Работал продавцом в книжном магазине в Лозанне и мечтал о своем издательском доме. Эта мечта осуществилась в 1966 году, когда он открыл «L'Âge d'Homme». Он издавал книги восточноевропейских авторов во французских переводах. Потом стал издавать по-русски советский самиздат. Именно здесь вышли впервые «Жизнь и судьба» Гроссмана, книги Войновича, Зиновьева. Когда перемены в России сделали это возможным, Дмитриевич открыл филиал своего издательства в Москве, переименовав название на русский лад – «Наш дом». Именно там стали выходить твои романы книгами, до этого они публиковались только в журналах. Ты надеялся, что «L'Âge d'Homme» выпустит и французские переводы.

А еще «Наш дом» издал твои стихи, которые ты мне тогда и привез – изящную книжицу, которую хочется приласкать. На авантитуле твой портрет, сделанный пером Татьяной Чугуновой, которая была и главным редактором издательства. На нем ты очень уставший и глаза закрыты. Мне кажется, художник смог заглянуть в тебя глубже, куда ты никого не пускал.

⁴ Шаров В. Воскрешение Лазаря. С. 70.



Двухэтажный особняк издательства был битком набит книгами, даже узкий коридор был заставлен стеллажами от пола до потолка. Нам навстречу бросился сам Димитриевич, пронзительно седой, взлохмаченный, неухоженный, суетливый, с простуженным птичьим носом. В его кабинете все тоже было завалено книгами, на столе стопки рукописей, папок. Он расспрашивал про «Наш дом», про книжный рынок в России, жаловался, что все труднее приходится издателям. Говорил, что очень хотел бы выпустить твои книги в переводе.

Тебя по-французски он так и не издал. Не знаю, почему у вас ничего с ним не получилось. Зато он познакомил тебя с прекрасным переводчиком – Поль Лекень (Paul Lequesne) стал потом твоим французским голосом и перевел «Репетиции» и другие романы.

Для Димитриевича год спустя после нашей встречи наступил самый тяжелый период его жизни. Когда начались бомбардировки Сербии, он активно вступился за свою родину, и против него во Франции объявили настоящую травлю. Его клеймили как сербского фашиста, книги его издательства бойкотировали. Закончилась жизнь Димитриевича трагически. В 2011 году 77-летний издатель вез, как делал это всю жизнь, книги на своем грузовичке из Лозанны в Париж и погиб в автокатастрофе.

В Женеве ты выступал в университете на Русском кружке у Жоржа Нива. До выступления, по установленному ритуалу, был ресторан. Жорж был элегантен, вальяжен, изящен и в жестах, и в своем безупречном русском. Сколько я с ним позже ни встречался, всегда казалось, будто он только что вышел из парикмахерской. Моя бабушка сказала бы: как новый двугривенный. Полная противоположность Димитриевичу, хотя, кажется, они были давними друзьями.

Женевский ресторан был изыскан, под стать Жоржу. Мне всегда казалось, что в ресторанах ты чувствовал себя не очень уютно, ты сам признавался, что любишь кухни намного сильнее. Московские кухни нашей юности.

Знаменитый профессор, живой кусок истории русской литературы, непосредственный участник жизненной драмы Пастернака, долго и с удовольствием переводил названия блюд в бесконечном меню и объяснял особенности их приготовления. Мне даже сперва показалось, что разговор о еде интереснее французам больше, чем русская литература. Но надо отдать ему должное – Нива был тогда одним из немногих западных славистов, которые понимали, о писателе какого уровня идет речь. Он говорил о твоих книгах с восхищением, но и с легкой иронией, вспоминая самые фантазмагорические эпизоды, которые, вырванные из контекста, звучали действительно нелепо. Жорж отбирал книги для программы издательства «Fayard», и была надежда, что он предложит твои романы для перевода.

Мне запомнилось, как Жорж на минуту вышел из-за стола, а ты сидел какое-то время молча, глядя перед собой в тарелку, и вдруг сказал с горечью: «Чувствую себя, как проститутка, которая хочет, чтобы ее купили».

Очень хорошо понимаю, о чем ты. Ко всем писательским унижениям нам, русским, добавлены еще и слависты. Мало того, что мы заложники издателей, переводчиков, мы зависим еще от славистов, которые должны объяснять издателям, кого печатать из русских, а кого нет. И достаточно, чтобы пару раз переводы принесли одни убытки, издатель этому слависту уже не поверит. Сам посуди, какие барыши могли принести твои книги? Впрочем, не знаю. Не наше это дело.

Жорж тебя в программу «Fayard» так и не включил. Твой первый французский перевод вышел потом в переводе Поля Лекеня в издательстве «Actes Sud». Это были «Репетиции». Помню, с какой радостью ты потом показывал мне эту книгу.

На Русском кружке ты читал длинный отрывок из романа «Мне ли не пожалеть...», как всегда – с интонацией бесконечного кружения. Студенты-слависты слушали прилежно, но

их глаза быстро делались оловянными. Русская публика недоуменно переглядывалась, однако вела себя прилично.

Сколько раз слушал, как ты читаешь свою прозу, и каждый раз поражался, что в обычном разговоре тебя всегда будто кто-то взбрызгивает живой водицей, а при чтении – мертвой. Пока вдруг не понял, что этот монотонный головокружительный бубнеж – танец суфийских дервишей! Там – самозабвенное вращение, здесь – вдохновенное бормотание. Попеременно ты поднимаешь, совсем как они, то правую руку, чтобы получить благословение неба, то левую, чтобы передать благословение земле. После часа вращения дервиши входят в транс, твои слушатели тоже, и им уже кажется, что весь мир вращается вокруг них.

Потом тебя спрашивали про Ельцина и Чечню, а ты, путаясь в бахроме бесконечных «значит», говорил о раскольниках, духоборах, скопцах.

На вопрос Жоржа, читал ли кто-нибудь до этого Шарова, поднялась одна рука.

– Я читал все романы Владимира!

Молодой человек оказался вовсе не филологом, а экономистом из Женевы, где он работал в большой международной компании. Это было начало моей большой с ним дружбы. Любовь к твоим книгам – верный индикатор, что люди будут интересны друг другу. Вот видишь, твое имя было паролем посвященных.

Вот еще островок. Не по хронологии, а как вспомнилось.

Книжная ярмарка в Париже. 2005 год. Приглашена огромная делегация русских писателей. Денег Агентство по делам печати не жалеет, всех селят в respectable отель «Бедфорд» на rue de l'Arcade недалеко от Мадлен. На книжном салоне Россия старалась не ударить лицом в грязь, кучу денег потратили на огромный размашистый стенд в русском стиле, на оформление буклетов для каждого автора.

В Париж как раз в это время приехал российский президент, и каждый писатель нашел в своем номере на столе тисненное золотом приглашение от Путина и Ширака в Елисейский дворец. Даже не момент, а моментик истины. Ни мне, ни тебе и в голову не пришло отправиться туда – как раз освободилось время для прогулки по городу.

Я стоял в фойе и ждал тебя. Через стеклянные двери отеля было видно, как русская делегация садится в автобус ехать на президентский прием. Прозрачные створки бесшумно разъезжались, когда кто-то подходил. Автобус уже тронулся, но вдруг резко остановился. Из него выскочил один известный писатель, бывший диссидент, и помчался в номер за забытым паспортом. К президентам нельзя опаздывать, и автобус, не дожидаясь, отъехал. Через минуту писатель выскочил из лифта и бросился к выходу. Стекло двери не успели разъехаться. Все, кто был в холле, оглянулись на хлесткий шмяк. С окровавленной физиономией и высоко поднятым паспортом русский писатель помчался вдогонку за автобусом. К дверям прибежал консьерж с рулоном бумажных полотенец. Кровь размазывалась по стеклу.

Как чудесно было слоняться с тобой по Парижу, до краев наполненному солнцем и весной! На Place de la Concorde я попросил какого-то японца снять нас на мою мыльницу. Он фотографировал и все время кланялся, гыкая. Ты еще рыжий, я уже седой.



Ты вспомнил отца, который так мечтал о Париже, но так и не побывал здесь. Ты теперь бродил по улицам и набережным за него.

Говорили, конечно, о России. Спорили. Мне, наивному, казалось, что страна пусть и медленно, но движется вперед, развивается, возвращается в цивилизованный мир. Государство стало поворачиваться к культуре лицом. Появились организации, как Norla в Норвегии или Pro Helvetia в Швейцарии, цель которых – продвигать своих писателей, художников, музыкантов, поддерживать их. Стали выделять гранты на переводы русских авторов, приглашать их на международные книжные ярмарки. Это же были живые доказательства, что государство в России

менялось на глазах, из машины подавления личности превращалось в государство для человека. И вообще, с каждым приездом усиливалось ощущение, что Россия понемногу умывалась, из страны рабов, господ и голубых мундиров делалась страной людей. Тогда, в середине нулевых, создавалось впечатление, что Москва медленно, но верно становится одной из европейских столиц. Я так радовался за мою страну!

Мне бросалось в глаза внешнее. Ты видел невидимое, настоящее. Ты знал историю, а значит, будущее. Ты говорил, что будет война, причем война с Украиной, что скорее всего рванет Крым. Мне это казалось бредом. А ты объяснял про точку схода двух христианств, католического и православного, что именно там, где сходятся братья по славянской крови и братья по христианской вере, всегда враждовали ожесточеннее, убивали друг друга безжалостнее. В доказательство приводил еще и Гоголя, уверявшего, что на земле нет места, где бы нечистой силе было бы лучше и вольготнее, чем там. Ты говорил про биологический закон: чем ближе – тем острее соперничество. Когда люди, культуры так схожи, им трудно объяснить, что на самом деле они разные. И тогда их начинает разделять ненависть.

Ты все видел и понимал уже тогда – и про вставание с колен, и про русскую духовность. Для тебя все, что происходило в нашей стране, было лишь очередным кругом «репетиций». Я зачем-то спорил с тобой. Ты со мной – нет. Для тебя мои надежды были лишь одной из тысяч вер, которые делают нашу жизнь стоящей. Для тебя было самым важным, чтобы люди воспринимали мир не простым, а сложным.

Мир представлялся тебе битком набитым нескончаемым количеством правд, убеждений, вер, которые люди готовы отстаивать, часто ценой своей жизни. И многие, если не все эти веры – несомненно истинны. Люди так ищут Бога, и каждый нащупывает свой путь к нему, и этих путей столько же, сколько родится людей на земле. Люди только неспособны осознать, что эти веры направлены не друг против друга, не сталкиваются лоб в лоб, потому что они обращены не к «неверным», а к Богу.

Для тебя было очевидно, что сама идея простоты и однозначности мира – здесь мы, а там иноверцы – рождена властью. И она – ложь. Это и было твое понимание мира: мудрость терпимости. На земле может найтись место всем правдам.

Ты считал, что все большие слова – упрощения, поэтому они ложны. История полна повторяющихся попыток человека упростить мир, в котором он живет. Беда людей в том, что они убеждены: главное – не познание, а спасение. И чем меньше на этом пути будет лишних вопросов, сомнений, уверены они, тем лучше. Для большинства мир чересчур, неоправданно сложен.

Мне запомнилось, как ты сказал в Париже на своем выступлении, что мы сотворены, чтобы однажды стать достойными Его собеседниками, а для этого необходимо осознать бесконечную сложность мироздания, невозможность в нем любых простых прямолинейных решений. Простые решения ради кажущегося спасения одних легко ведут к действительной гибели других. Жизнь коротка, и поэтому люди, чтобы разобраться в ней, отделить добро от зла и выбрать добро, всегда торопились. И все их попытки спасения кончались потоками крови. А главное, русла для этой крови пересыхают, но остаются ждуть. И рано или поздно эти ждущие крови русла наполняются новыми реками. «Репетиции» продолжаются, и им не видно конца.

Ты видел выход из этого круга только в семье, в малом, «теплом» мире, в строительстве не светлого будущего, требующего жертв, а того самого обсмеянного Достоевским домика с аистом на крыше, в том, чтобы научиться быть самим собой, а не участником массовых бесконечных «репетиций». Ты умел здорово сформулировать: «Самое хорошее, что в нас есть, связано с нашей непохожестью друг на друга, а не с нашей способностью сбиваться в стаи». Еще: «Добро очень зависит от расстояния. Обращенное к близким людям, оно тысячекратно больше, чем обращенное на все человечество. Просто надо привести в некоторый порядок свой мир. Заниматься шестью дачными сотками, а не бескрайними, бесконечными просторами».

Вера в великие слова, в богоизбранность приводит к сакральному праву на насилие. Отказ от малого мира семьи ради вселенной великих идей ведет след в след к бесконечному кружению по уже пройденным трагедиям. Следующий русский кровавый циклон запрограммирован.

Оптимизма в тебе не было никакого. Ты за всем происходящим в стране пристально следил, остро чувствовал все невидимые изменения. Помнишь, мы сидим в каком-то уличном парижском кафе, где стулья расставлены впрыток, как в зрительном зале, а шумная улица – сцена, и на сцене показывают, как обещали, бесконечный праздник, а ты говоришь, что две трети своей жизни прожил в условиях несвободы, и что все идет к тому, что и остаток дней проживешь в несвободе, и что краткость перерыва вызывает в тебе глубокую тоску, а еще больше жалко детей, и своих, и не своих. И все это задолго до Грузии, и до Крыма, и до Донбасса, и до Сирии, и до Бог знает чего мы еще не знаем.

На следующее утро в ресторане гостиницы за завтраком все обсуждали, до какой степени унижения кто из приглашенных в Елисейский дворец опустился. Один известный писатель, тоже вроде бывший диссидент, все пытался всучить президентам свои книги. Другой, уже пьяный, щелкал во время представления каблуками и кричал: «*A votre service!*» Больше всего каждого возмущало, что кто-то выплюнул жвачку на ковер и у всех прилипали подошвы. По секрету одна писательница призналась, что жвачку плюнула она, потому что ей все происходящее там было противно. От всех этих рассказов пахло немывотостью.

Меня потом еще несколько раз приглашали представлять Россию на книжных ярмарках, но страна, которую я должен был представлять, на глазах становилась иллюстрацией к твоим романам. Россия эмигрировала из XXI века в средневековье. Когда я написал открытое письмо, почему не хочу ездить с официальной писательской делегацией России на книжные ярмарки, по мне проехался каток ненависти. Больше всего досталось от коллег-писателей. Твоя поддержка в те дни мне была очень важна. Ты мне очень тогда помог все это выдержать.

Самая удивительная встреча с тобой была в Америке. Два семестра я преподавал в Washington and Lee University. Университет расположился на холмах городка Лексингтон в Вирджинии. До меня там преподавала Оля, и так получилось, что мне дали ту же самую квартиру, в которой обитали вы. Я вселился в дом, в котором ты жил и творил. Было приятно, что я оказался лично знаком с *genius loci*.

Собственно преподавание занимало у меня лишь пару часов в день, остальное время я мог в полном одиночестве работать над романом. Мой герой участвовал в одной забытой войне: брал с русскими войсками Пекин во время Боксерского восстания, и я составил список книг, которые мне обязательно нужно было прочитать. Это мемуары и дневники русских солдат и офицеров, опубликованные в начале XX века и потом никогда не переиздававшиеся. Помню, с какой тоской я думал о том, что мне придется специально лететь в Москву и сидеть в Ленинке, взявшей псевдоним, но не сумевшей выветрить запах из туалетов. Как забыть тот крепкий настой курева и мочи, который окутывал людей, возвращавшихся в читальный зал...

Твоя Оля посоветовала поискать эти издания в Америке, и о чудо, я нашел все, что мне было нужно, в разных библиотеках по всей стране. *Interlibrary loan* – величайшее достижение человечества. Через пару дней почти все необходимые книги стояли стопками на моем столе, а остальные мне прислали в виде микрофиш.

Наша разница: мне для правдоподобия нужна правда, тебе достаточно воображения.

Почти каждый день я ходил гулять по берегу *Maugy River*, по дорожке, уходившей на многие мили в вирджинские леса. И это тоже был твой каждодневный маршрут. Ты вообще не любил спешки, ты любил не идти куда-то, а прогуливаться. Ты был больше человек покоя, несуетности, созерцания. Твои слова: «Не люблю быстротечность».

Один раз я столкнулся там нос к носу с оленем. На него падало солнце, и показалось, что он держит на голове огромную зажженную люстру. Стояли и смотрели друг другу в глаза. Потом он вильнул ухом и в три прыжка исчез.

Иногда в зябкие дни от воды поднимался туман. Забавно, что из тумана от одной и той же реки, затерявшейся где-то в Аппалачах, выростали и чекисты, что берегли воспоминания девочки Веры, и мой «Письмовник».

В Лексингтоне ты писал «Старую девочку». Я очень хорошо представлял тебя за моим столом или как ты ходил маятником по этой комнате. Оля рассказывала, что когда роман разгонялся и катился к завершению, ты работал запоем, почти не спал. Вставал в четыре утра или вовсе не ложился. Или вскакивал среди ночи, бросался к листу бумаги и корябал, не зажигая света, чтобы никого не разбудить.

Я как раз работал днем, а вечерами читал. Несколько одиноких пустых вечеров мне спасла машинопись «Будьте как дети», которую ты тогда как раз готовил к печати, это был 2008 год. Я восхищался лавиной фантазий из твоей головы и спотыкался о небрежность твоей руки. Когда ты несся на всех парах, мелочи тебя уже не интересовали. Про орфографию и пунктуацию я молчу. Вот отрывок из моего мейла Оле, которая помогала тебе заниматься редактурой:

«Разумеется, в романе, в котором дети идут по морю, это, может, не так важно, но, мне кажется, наоборот, именно в таком романе ценность представляет точность в реалиях.

Например, зачем Володя придумывает какого-то Стасселя, когда реальным якутским губернатором с 1856 по 1864 года был Штубендорф. Я бы поменял фамилию и убил его именно в 1864 году. Так же намного интересней!

Почему „по календарю солнце 23 июля заходит ровно в шесть часов тридцать одну минуту пополудни“?? В этом году оно зашло 23 июля в 21.52.

Как легко могло появиться до Первой мировой войны?

Какая-то путаница с детьми Дуси, то у нее двое, то один: „двух детей, тем более мальчиков, ей не поднять“ – и как это она оставляет двух детей и уезжает на поиски брата на несколько лет?? Потом возвращается, и от нее „успел отвыкнуть“ уже один ребенок. Потом она снова с двумя детьми, на следующей странице ребенок опять один. Так сколько детей? Был ли второй мальчик? Ну и много по мелочи, например Дуся все рассказывает отцу Николаю, но он вдруг становится отцом Григорием».

Но все это действительно пустяки. Ты создал свою, «шаровскую» прозу.

Канон учит работать резцом, как Бунин, отсекая от увиденного все лишнее. Ты – ткач. Твоя проза обволакивает.

Тебе нужен разгон. Ты не можешь дать героям сразу их полный голос. Ты всегда начинаешь с чьего-то письма, дневника, воспоминания, разминаешься на чьих-то статьях, тезисах, лекциях, если не записанных, то пересказанных, объясняешь читателю что-то про какую-то переписку, якобы найденную в Народном архиве, но это все – гипнотические пассы. Их задача заморозить. Твоя неспешная убаюкивающая интонация вводит в транс. Чтение твоей прозы – наваждение, поездка во сне с бесконечными пересадками, и в каждом купе, в зале ожидания, за столиком бутербродной каждый встречный норовит излить душу. В какой-то момент вдруг приходит понимание, что все они рассказывают одну и ту же историю, и читающий сам становится ее частью, ее телом – она прорастает в нем. Стиль, поначалу аморфный и невнятный, приобретает упругость, пружинистость.

В твоём словарном рационе нет никаких изысков, никакого десерта, лишь самое необходимое. Представляю, какую физиономию скривил бы Набоков. Ты берешь самые неприятельные слова, босые и сырые, и из этих слов-замарашек рождаются шквальные фантазмагории.

Любой школьный учитель литературы легко объяснит тебе, почему так романы не пишутся, как это делаешь ты. Твой Коля Гоголь хочет написать второй том «Мертвых душ», но у него получается только синопсис. Электра пересказывает синопсис «Агамемнона». Так все твои романы – синопсисы твоих романов. Тебе не до психологии пейзажей, штукатурки характеров или журчания диалогов, тебе важно сказать самое главное.

Во всех романах один и тот же сюжет. Сперва вводится притча, неловко, путано. Метафора бережно держит роман в пригоршни, чтобы не расплескался. Начинаются поиски ее смысла, читатель вместе с героями отправляется в путь за спасением, за Богом. Очень скоро поиски превращаются в бешеную погоню, от которой дух захватывает. Оторваться от книги уже невозможно.

Ты вырос, как на дрожжах, на «Котловане» и «Чевенгуре», прочитанных в отрочестве. Платонов как обнял тебя тогда, так больше и не отпустил. Речь, разумеется, не о языке, а о невероятной тяге, которую создает его проза. Искренняя платоновская вера рождала силовое поле, не уступавшее по мощи ураганной вере первохристиан или русских сектантов. Эта тяга уносит и твоих героев. Эта тяга засасывает читающего в твои романы. Чем выше труба, тем сильнее тяга – твоего читателя уносит в небо.

Твоя проза – это хор, хоровая молитва. Групповая исповедь. Все твои герои только тем и занимаются, что истово исповедуются. Они не боятся смерти, им некогда, они готовятся к Страшному суду. Все остальное их не интересует. Ты – их автор, но писал только то, что они говорили, не позволяя себе никакой отсебятины.

У тебя нет диалогов, потому что диалог подразумевает особенности индивидуальной речи. Твои герои объясняются на языке всеобщего понимания, на том языке, на котором все понимали друг друга до появления языка: отец Иринарх понимает коров, француз Сертан без перевода общается с жителями сибирской деревни Мшанники.

Твоим любимым образом была каша, перемешиваемая ложкой. Так ты говорил о сталинской государственной машине, которая перемешивала народ, делала его однообразной массой. Вот так же, как кашу ложкой, ты перемешивал своих героев, перетирал комочки. Начав говорить в одном романе, любой из них мог бы, не запнувшись на запятой, продолжить на страницах другого. Рассказчики, автор, чекисты, Федоров, мадам де Сталь, бегуны, палачи, дядька-корреспонденты, доносчики, десятки голосов переходят друг в друга без шва, сливаясь в одной интонации, соединяясь в одно дыхание. Важно не кто говорит и какими словами, а лишь то, что они хотят сказать. К кому бы они ни обращались, их речь всегда обращена к Богу, на твоей планете это единственный смысл говорения. Все люди разные, но различаются только силой веры: «Чтобы никого не испугать, не оттолкнуть, Господь даже Веру каждому дает по силам».

И время в твоих романах – та самая размазанная каша – хорошо размешанное, наваристое, русское время, заваренное на крови. Там что смута, что лагерный порядок – всегда современность.

Тебе пытаются приписать какую-то «альтернативную историю». Альтернативная история – в их бесконечно меняющихся школьных учебниках, а не в твоих романах. Историческая наука в России – уже столетия инструмент сокрытия исторической правды. Значит, к истине остается идти не через «науку», а через поэзию.

После платоновского медведя-молотобойца с верным классовым чутьем и уплывающими вниз по реке плотами с обреченными кулаками – что в твоей истории «альтернативного»? «Альтернативным» был тот абсурд, в котором билась страна последние сто лет, завлекая весь мир, что мы живем в раю, и конвульсии никак не прекращаются. А что может быть фантастичнее и неправдоподобнее обожествления Сталина? Или нетленного трупа в самом центре города? Мы же выросли в действительности, где мертвый живет всех живых. Что может быть невозможнее родных людей, расстрелянных в затылок? Как жить в мире, где убитые вместе с доносами лежат в папках со штампом «Хранить вечно»? Фантазмагии твоих

романов – лишь тень, бросаема́я самым достоверным безумием русской жизни. Разве война с Украиной не фантастичнее самого нелепого вымысла? То, что сегодня кажется невозможным бредом, завтра становится окружающей средой.

Ты себя считал реалистом. И правильно делал. И тебе ничего не надо было придумывать. Вся история России после Николая Гоголя – лихорадочная и обреченная попытка дописать сожженный, потому что невозможный второй том – «Чистилище». Про третий уже и говорить нечего.

Вечный спор о необходимости тяжелой судьбы: должен ли писатель намучиться, наголодаться, насидеться, чтобы проза его стала выстраданной и настоящей? Ты не сидел, не нуждался. Тебе была дана, по русским литературным меркам, счастливая жизнь. Какое будущее могло ожидать еврейского мальчика, появившегося на свет в роддоме в замордованной стране, добываемой делом врачей? Тебе повезло. Судьба играла с тобой в поддавки.

Детство в привилегированной московской писательской семье. Престижная школа. Не школа, а теплица. Ты как-то стал рассказывать про свою вторую математическую, и я обзавидовался. У нас все было по-обычному. В русской школе дают навыки русской жизни: не высовываться, думать строем, лгать правду, разбирать калашников. А это была советская антишкола. Там учили для какой-то другой жизни. Тебе повезло с учителями. Ты с такой любовью говорил о словеснике и историке, известном диссиденте Анатолии Якобсоне. Все человеческое в России – как опечатки. Их быстро исправляют корректоры. Тебе повезло попасть именно в те несколько лет «ошибки». Школа после тебя продержалась недолго, ее разгромили, директора выгнали, учителя ушли. Почти все эмигрировали. Якобсону предложили на выбор: десять лет лагерей или эмиграция в Израиль. Он выбрал эмиграцию, но что это было: трагедия или везение? В Израиле он спился и покончил с собой в сорок три года.

Не бывает везения в жизни просто так. Раз повезло, значит, кто-то тебя для чего-то сохранил, спас. Твои романы должны были быть написаны, искали себе автора и выбрали тебя. Может, они тебя и берегли?

От армии, этой русской *l'Éducation sentimentale*, тебя освободили. Не знаю, кто был твоим настоящим спасителем – свинка с менингитом в детстве или знакомый врач, но в казарме ты бы не выжил. Не могу представить тебя салабоном, терпящим побои и унижения от дедов. Повезло.

В Плехановском институте ты устроил антисоветскую акцию, организовал забастовку. По ломанию судьбы «шибко умным» юношам они мастера. Прецедентов достаточно. А твое дело замяли. Снова повезло, могло бы быть иначе.

Еще колоссальное везение – историк Александр Немировский взял тебя в свой воронежский ковчег. И опять ты успел проплыть на том корабле несколько важных лет, пока с твоим профессором не расправились. Кончилось тем, что ученого-античника сняли с заведования кафедрой истории Древнего мира и выгнали из партии «за пропаганду Древнего мира», при этом его еще объявили главой сионистского подполья города Воронежа.

Все, что нужно знать о советском образовании, – твой рассказ, как в университете Воронежа сжигали книги. В библиотеке не хватало места для новых поступлений – освобождали полки для собраний сочинений Брежнева. Ректор издал приказ сжечь большую часть античной коллекции библиотеки. Тысячи томов, в основном на латыни. Никто из работников библиотеки латынь не знал. Дюжины инкунабул, напечатанных в венецианских, флорентийских и падуанских типографиях. Фолианты на пергаменте. Уникальные экземпляры, драгоценные для мировой культуры, но ненужные для советского ВУЗа. Так и вижу эту картину: несколько огромных костров – горят тысячи и тысячи книг, и вокруг каждого – милиция, чтобы никто не мог выхватить том из огня и унести домой. И вы кругом – студенты-историки со своим профессором, который пытается прорваться сквозь кордон и спасти хоть что-то.

В конце концов в крепостной стране ты смог стать вольным хлебопашцем – зарабатывал деньги репетиторством. Это и была твоя «глухая провинция у моря». Ты был независим и писал свободно – в стол. В свободном мире столько авторов мечтают о том, чтобы быть свободным писателем, работать над книгой, не заботясь ни о тиражах, ни о мнении критиков, а ты всегда, с самого начала был им.

Возвращаюсь в Лексингтон. Вы с Олей говорили, что зима там теплая. Вам повезло. Дом для настоящей зимы был совершенно неприспособлен, из щелей в рамах дуло, батареи еле теплились, рефлектор не спасал. В мою зиму Вирджинию завалило снегом, стояли подмосковные холода.

Приходилось кипятить воду во всех кастрюлях, какие нашлись на кухне. Накрыв крышками, расставлял их на полу вокруг кровати. На какое-то время действительно помогало, а к утру квартиру выстуживало.

Очень хорошо помню, как одной такой кастрюльной ночью вдруг ощутил себя в концовке «До и во время». Не знаю уже, по какой цепи ассоциаций. Там у тебя старики уходят в снегопад, а Федоров и мадам де Сталь остаются в застуженном здании больницы. И что было с ними дальше, ты не рассказываешь, потому что роман уже кончился. Но, как всем хорошо известно, слово конец ничего не говорит, а герои, уходя со сцены, не исчезают, а продолжают жить, что-то делать. Мерзнуть, например. И очень хорошо представил себе, как они не могут заснуть от холода, идут на кухню, наливают кастрюли водой, ставят на огонь, кипятят, несут в комнату, залезают в ледяную постель. А им не спится, и вот они лежат в ковчеге в ожидании потопа и смотрят на запотевшие от кипятка окна.

В 2016 году ты получил стипендию в Лавиньи. Писательская резиденция располагалась в бывшем поместье издателя Хайнца Ледиг-Ровольта, расположенном над Моржем недалеко от Женевского озера. Пять-шесть авторов живут в старинном шато по месяцу на всем готовом и имеют возможность спокойно писать. За несколько лет до этого я тоже там был, работал над романом «Венерин волос», и ко мне в Лавиньи приходила Изабелла Юрьева, любимая певица моего отца, прожившая сто лет, весь русский нечеловеческий XX век, и говорившая в одном интервью, что у нее погиб ее единственный ребенок, мальчик, а в другом, что у нее погиб ее единственный ребенок, дочка. А ты работал над «Царством Агамемнона», и к тебе приходили Электра в старушечьем платке, продававшая свечи в церкви в Лёвшинском, и расстрелянный Гавриил Мясников, написавший трактат «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова», и разговор сервантесовского Росинанта и платоновской Пролетарской Силы из «Чевенгура».

Я жил и работал в комнате, где находилась огромная личная библиотека Ледиг-Ровольта. Мне нравилось сидеть с ноутбуком в глубоких прохладных кожаных креслах, в которых хозяин беседовал с Набоковым, жившим неподалеку и часто навещавшим своего издателя и друга. Кресла делали глубокий бормотливый выдох, когда в них садились. Время от времени я испытывал ощущение присутствия, будто кто-то стоит за спиной, но объяснял себе это сотнями подписанных книг на полках. Непрочитанные книги мертвы, а прочитанные и, особенно, подписанные оживают. Книги, как собаки, ничего не знают о смерти, просто ждут возвращения хозяина.

Среди писателей, живших со мной в шато, был романист из Панамы, импозантный седокудрый кабальеро, все делавший не спеша и с достоинством. Мы как-то сидели с другими писателями на террасе, смотрели на закат над Леманом, пили «Chasselas» с местных виноградников в ожидании ужина, когда панамец выскочил к нам ошалелый, взъерошенный, с круглыми глазами и сбивчиво стал рассказывать, что открыл дверь из коридора в свою комнату и вдруг увидел, как кто-то стоит за столом и смотрит его записи. С испугу он захлопнул дверь, а когда снова открыл, никого в комнате уже не было. Наша хозяйка, внучка русского эмигранта

из Санкт-Петербурга, уже ни слова не говорившая по-русски, воскликнула, хлопнув себя по коленкам: «I've been waiting for that!» Оказалось, что в шато обитают духи и являются каждому поколению стипендиатов.

Издатель купил этот замок в 1970-х, чтобы провести в этом раю старость. Хайнц Ледиг-Ровольт умер в возрасте 84 лет во время путешествия по Индии. Его вдова Джейн провела после смерти мужа в Лавиньи в одиночестве полтора года, пока не покончила с собой. Она завещала дом фонду, который приглашал бы сюда писателей, но с условием ничего из обстановки не менять.

Панамский романист спал в той самой постели, в которой Джейн убила себя. В этой же комнате жил теперь и ты. Неизвестно, бродят ли по шато именно Ровольты или призрак обитали в старинном здании уже до них. На мой вопрос о привидениях ты ответил, что никто к тебе не являлся, а кровать бесконечно роскошна. Это было одно из твоих любимых словечек – бесконечно. Ничего удивительного нет в том, что твои герои распугали швейцарских духов. Ведь вместе с тобой в шато Лавиньи поселились и Агамемнон, царапающий, как курица лапой, доносы на собственную дочь, которые та прилежно переписывает для следователя, и чекист Жужгин, отмывающий руки, измазанные кровавым бельем великого князя Михаила. И вот эти строчки: «В людях накопилось чересчур много зла; чтобы нас отмолить, спасти, божий мир должен до краев наполниться благодатью. То есть необходимы тысячи тысяч новых святых и великомучеников. Государство, которое заставляет нас давать показания на будущих невинно убиенных, и мы, которые их даем, сообща творим эту искупительную жертву». Куда уж страшней?

Ты был счастлив, что снова работаешь, что роман пришел и «сам катится». После завершения каждой книги у тебя начинались депрессии – очень хорошо тебя понимаю. Помню, как ты жаловался, что пуст, как исчерпанный колодец, что без работы распадаешься на части, что разъедает тоска. А потом каждый раз колодец снова потихоньку наполнялся. И тогда снова все начиналось сначала.

Писать было для тебя жизнью. Ты не мог остановиться. Ты был бегуном, а твои романы были твоими кораблями. Ты бежал по жизни из одного в другой.

Поскольку ты все время сидел безвылазно в Лавиньи, мы с Женей решили свозить тебя в Сен-Пре. В тот день нам повезло – была видна вершина Монблана. Мы спустились на машине к Женевскому озеру. Леман всем своим видом показывал, что его озерная жизнь удалась. Чайки, лебеди, прозрачный плеск, колесный пароходик под швейцарским флагом. Далекий французский берег зарос солнечной дымкой, а над ней поднимались к небу Савойские Альпы, как комментарии к Библии.

Мы погуляли по набережной, побродили по городку. Во время Первой мировой войны в Сен-Пре спасались Алексей Явленский с Марианной Веревкиной. Они тоже были бегунами. И кораблем друг для друга.

Ты играл с нашим сыном, Люшику было тогда три. Он тебя обожал, бегал за тобой как хвостик. Вы носились друг за другом вокруг старинного фонтана, Люшик визжал от восторга, и ты сам лучился детством. Женя фотографировала вас. Мне кажется, это лучшие твои фотографии.

Ты уже носил в себе рак, но еще не знал об этом. А может, знал, но ничего нам не сказал.

И я не мог тогда себе представить, что буду через два года обзванивать по просьбе Оли швейцарские клиники, выяснять, где делают CAR T cell – еще совсем новую терапию. Выяснится, что в Швейцарии эту терапию предлагает только Университетская клиника в Лозанне. Но будет уже поздно.



Мы посидели в кафе, еще походили по средневековым вымершим улочкам.

Конечно, разговоры были о России, об Украине. Ты с горечью говорил о друзьях, с которыми прекратил общение после крымнаша.

Ты рассказывал, что, по ощущению, вернулась советская власть, которой ты никогда не мог простить миллионов загубленных, но больше всего ненавидел именно абсолютную бездарность этой власти, ее напыщенную фальшь. И вот эта бездарность и фальшь снова душили страну.

Народ, побродив по бездуховной пустыне и в кои-то веки наевшись досыта, благополучно вернулся в Египет.

Тебя называли русским Свифтом. Гулливеру не верили, пока он не достал из кармана лилипутскую корову. Твои романы казались историческими фантазмагориями, пока не стали убивать за русский мир.

Помню, что заговорили об Александре Гольдштейне. Ты, кажется, так его и не прочитал, а я убеждал тебя, что это гениальная проза. Вы были на противоположных полюсах литературы, но на одной оси.

Гольдштейн умер от рака, закончив за несколько дней до смерти роман. Ты рассказал, что точно так же получилось с твоим отцом. Машинопись своей последней прозы, своего лучшего романа «Смерть и воскрешение А. М. Бутова (Происшествие на Новом кладбище)» он получил за три дня до того, как его отвезли в больницу. Ты успел издать эту книгу до своей смерти. Это был твой долг перед отцом. Его воскрешение.

Никогда не забуду: мы уже замолчали, просто шли рядом, возвращались к парковке. И ты сказал:

– Вот так нужно это делать.

Вместо слова «умирать» ты сказал «делать».

Ты так и сделал.

Наша последняя встреча была в Мюнхене, в августе 2017-го. Ты там лечился в онкологической клинике. По мейлам создавалось впечатление, что все хорошо и ты идешь на поправку. Вы сняли квартиру в двухэтажном домике в Pasing – это заснувший в своих садах, да так и не проснувшийся западный пригород Мюнхена.

Не то чтобы я испугался. Это, конечно, был ты. Только переселился в кого-то чужого. От химиотерапии выпали все волосы. Я никогда не видел тебя без бороды. На большое грузное тело в конце длинной шеи присела старческая лысая головка. Мы обнялись.

Ты когда-то рассказывал, что сбрил бороду единственный раз в жизни еще в студенческие годы, проиграв ее своему профессору в шахматы. Ты говорил, что в бороде тебе уютно, тепло, что это одежда, пошитая именно на тебя, что у староверов это образ Бога, создавшего себе копию, а бреется идущий против Божьей природы сатана, и что вообще борода – дресскод русского писателя. Думаю, что все было намного проще: тебе было не до бороды, просто хотелось избежать мороки с бритвами и порезами. Теперь ты проиграл бороду раку.

Вы рассказывали о лечении, клинике, лимфоме, химии, иммунотерапии, операции – предстояло извлечь кисту, это было осложнение после взятия биопсии. Чем дольше я смотрел на тебя, тем больше проступал сквозь незнакомый облик тот родной человек, которого я знал и любил все эти годы, твоя улыбка, твоя ирония, твоя теплота, твой свет.

Когда говорил об «Агамемноне», ты возгорался, будто кто-то раздувал в тебе пламя, а когда речь снова заходила о врачах и обследованиях, затухал.

Стол накрыли в саду, на лужайке. Солнце нещадно палило, и мы устроились в тени огромной акации. Не знаю, откуда Оля смогла достать все это в Мюнхене, но стол, как всегда, ломился – и малосольные огурцы, и грибы, и салаты, и всякая всячина. Ты почти ничего не ел.

После обеда пошли гулять, рядом был огромный парк. Помню, что говорили о переводах.

Я всегда сравнивал роман с «Титаником», а перевод – с айсбергом. Тут никаких иллюзий быть не может. Дело переводчика – спасти то, что можно спасти.

Мне всегда милее переводы на какие-нибудь нечитаемые языки. Просто радостно, что есть еще одна книга еще в какой-то далекой стране. Я мог проверять переводы моих романов только на немецкий и английский. Травма, которой ты был, к счастью, лишен, – видеть, сколько всего пропадает. И дело не в переводчике, а в несовпадении прошлого. Язык – это сумма всего, через что пришлось пройти поколениям. Можно перевести слова, но и лучший переводчик не может перевести прошлое. Как перевести читателя?

Любому переводчику непросто, а твоему и подавно. Помню наши разговоры в Оксфорде и Лондоне с Оливером Реди, твоим английским голосом. Оливер – блистательный переводчик, тонкий, знающий, опытный, влюбленный в твою прозу, жаловался мне на то, как трудно «втиснуть» тебя в ожидания англоязычного читателя. Например, он стоял перед задачей преодолеть иммунитет, отторгающий в Англии прямое говорение о Боге. Что еще простительно Толстому или Достоевскому, то не прощается современным авторам.

Выход здесь только один. Своими романами ты сумел создать себе своего русского читателя, так и переводчик должен суметь создать твоего читателя. Стать и бегуном, и кораблем. Русский чудовищный XX век, конечно, непереволим. Но переводимы и семья, и любовь, и смерть, и вера.

Ты ужасно радовался, что вышли наконец «Репетиции» в переводе Оливера, да еще с потрясающей обложкой Саши Смирнова, работы которого ты очень любил.

У тебя еще будет много переводов, не сомневаюсь. Ты только начинаешь.

К вечеру мы отправились в настоящий мюнхенский биргартен, тоже недалеко от вашего дома. Там к нам присоединился сбежавший от времени, загорелый, гениальный Сережа Соловьев, проживший несколько лет в Индии и счастливо оказавшийся в этот день в Мюнхене. Мы

списались с ним накануне. Два дорогих для меня человека и писателя. Я рад, что успел вас познакомиться.

Сережа без удержу рассказывал о своих приключениях в заповедных индийских джунглях, о встречах с тиграми, совместных бдениях со слонами, о тейяме. Это древний индуистский обряд, сохранившийся с языческих времен неизменным в деревнях, разбросанных в Керале на юге Индии. Этот магический спектакль на храмовых подворьях длится по сто часов, с медиумами, в которых вселяется дух Шивы или Вишну, в фантастических костюмах с пятиметровыми в высоту головными уборами, и все это происходит вокруг костров, в которые они потом бросаются, в прогоревшие тонны тамариндового дерева, в самый жар, без фокуса, плашмя, лицом и всем телом.

Казалось, что Сережа все это вдохновенно сочиняет, но он тут же показывал на своем смартфоне фото и видео: и слонов, и змей, и тейям, и людей, бросавшихся в пламя, и себя среди этого всего – счастливого, нездешнего.

Он звал нас всех в Индию. Ему казалось все таким простым – главное, наскрести денег на билет, а там уже все родное, привольное, настоящее, легкое. Он только вернулся, а уже снова мечтал о том своем мире. Индия стала его кораблем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.